

Собинения
игумении Таисии
(Солоповой)



Комиссия по канонизации подвижников благочестия
Череповецкой епархии
«Сатись»
Санкт-Петербург
2018

*По благословению
Преосвященнейшего Флавиана,
епископа Череповецкого и Белозерского.*

*Рекомендовано к публикации
Издательским советом Русской Православной Церкви*

ИС Р18-720-0745

Игуменья Таисия (Солопова) (1842-1915 гг.) принадлежит к числу тех редких ярких личностей, которые все дарованные Богом таланты без остатка посвящают служению Святой Церкви и Отечеству. Записки и Письма игуменнии Таисии и по сей день служат духовным ориентиром для всех, желающих найти верный путь ко спасению. В них прикровенно описан путь духовного возрастания через терпеливое несение скорбей и искушений, через смиренное принятие воли Божией.

Печатается по изданию Леушинского монастыря, Петроград, 1916 г. «Записки игуменнии Таисии, настоятельницы первокласснаго Леушинскаго женскаго монастыря (автобиография)».

ISBN 978-5-7868-0145-4

© Силина Е. А., составление, 2018

© Комиссия по канонизации подвижников благочестия
Череповецкой епархии, 2018

© Издательство «Сатисъ», оригинал-макет, оформление, 2018



«Для того благодать Духа и описала для нас жизнь и деятельность всех святых.., чтобы мы узнали, как они, будучи одного с нами естества, совершили всякую добродетель, чтобы и мы не ленились подвизаться в ней».

Святитель Иоанн Златоуст.

Игуменья Таисия (Солопова) (1842–1915 гг.) принадлежит к числу тех редких ярких личностей, которые все дарованные Богом таланты без остатка посвящают служению Святой Церкви и Отечеству. Поражает её беззаветная любовь и преданность Богу, её терпение, личная скромность, подлинное смирение, упование всегда и во всем на Промысел Божий.

Неуклонность в исполнении благих замыслов позволили матушке в синодальную эпоху открыть или возобновить монашескую жизнь в целом ряде обителей. Её чаяниями был открыт Иоанно-Предтеченский Леушинский женский монастырь, Иоанно-Богословский Сурский монастырь, Благовещенский Воронцовский монастырь в Псковской губернии, древний Ферапонтов монастырь, Парфеновский Богородицкий монастырь близ города Череповца, Антониево-Черноезерский монастырь на Шексне, Троицкий Синезерский монастырь близ города Устюжны. Сотни монашествующих были объединены вокруг игуменнии Таисии, её имя с благоговением озвучивалось подвижниками благочестия, в том числе и духовными лицами, в будущем причисленными Церковью к лику святых. Например, святой праведный

Иоанн Кронштадский, духовной дочерью, сомолитвенником и другом которого являлась матушка, называл её святой старицей.

Живя для Бога и Богом, матушка Таисия и других учила тому же, как своим личным примером, так и письмами, статьями, стихами, записками.

«Записки игумении Таисии» — автобиография не только земной, внешней, но и внутренней, духовной жизни матушки. В ней показаны события с 1885 года по 1892 год. Ещё праведный Иоанн Кронштадский одобрил рукопись Записок и благословил их к изданию словами: «Дивно, прекрасно, божественно! Печатайте в общее назидание». Но матушка Таисия по своему величайшему смирению так и не решилась опубликовать свои Записки при жизни. Впервые они были напечатаны уже после её кончины в журнале «Кронштадский пастырь». И по сей день «Записки игумении Таисии» актуальны для верующих, назидая их, подобно матушке, исполнить слова Спасителя: *«Кто хочет последовать за Мной, тот отвергнись себя возьми крест свой и следуй за Мной»* (Мф. 16: 24).

Не менее интересны и полезны для всех, ищущих подлинной христианской жизни, «Письма игумении Таисии к новоначальной инокине». В них не только содержатся основы православного подвижничества, опыт монашеской мудрости, но и сияет свет монашеского подвига самой игумении Таисии, научая, как монашествующих, так и мирян терпению, смирению, любви Христовой, молитве, самоотвержению, жизни для Бога.

Записки и Письма игумении Таисии и по сей день служат духовным ориентиром для всех, желающих найти верный путь ко спасению. В них прикровенно описан путь духовно-

го возрастания через терпеливое несение скорбей и искушений, через смиренное принятие воли Божией.

Дай Бог, дорогие братья и сестры, чтобы прочтение Записок и Писем игумении Таисии, способствовало нашему духовному обновлению, прозрению, а вызванное сочинениями матушки желание стяжать добродетели, жить богоугодно, принесло свои добрые плоды.

+ Епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан.

Размышляя о жизни великой подвижницы...

Жизнь игумении Таисии (Солоповой) как духовное руководство христианам к жизни по Богу, во Христе Иисусе, Господе нашем.

«Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном»

(Мф. 5: 19)

Обращаясь к жизнеописанию того или иного угодника Божия, каждый православный христианин старается перенять из него опыт ведения духовной жизни, получить духовное наставление для своего спасения. Каждый, в силу особенности своего мышления, сердца (чувств), берет из жизнеописания что-то свое и старается в дальнейшем реализовать полученные знания в своей жизни.

Эпиграф статьи, заключающий в себе слова Господа, раскрывает жизнь игумении Таисии (Солоповой), воплотившей заповедь Божию в реальность. Зная наизусть Евангелие, она жила по нему, уча Слову Божию как современников, так и потомков своим личным примером, письмами, записками.

Чему же конкретно учит нас своей жизнью матушка Таисия? Почему к ней тянется душа каждого человека, узнавшего её?

В первую очередь, вере во Христа, преданности Ему, вверению себя Его спасительному Промыслу, бесконечной любви ко Спасителю.

Её жизнь, представляющая собой жертвенное горение пред лицом Божиим, есть та самая свеча, о которой пишет евангелист: «...зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф. 5: 15). Так и матушка своими трудами, непрестанными молитвами, делами милосердия и сострадания согревала души всех, обращающихся к ней за помощью. Продолжает она это делать и теперь. Главное, обращаться к ней с твердым упованием, что услышит и поможет.

Самозабвенно трудясь на земле для Бога, она учит и нас выполнять каждое свое дело для Господа. Сколько сложных задач ей приходилось решать, неся послушание в начале покорной и любящей дочери, затем монастырской послушницы, письмоводительницы, певчей, казначеи, монахини, а после и руководительницы монашеской общины, устроительницы Леушинского монастыря и духовной матери многих — игумении, храмостроительницы, устроительницы монастырей и пр.

Радея о духовном образовании, она создала церковные школы для детей и для учителей, составляла духовные наставления.

Миссионерская деятельность матушки распространилась далеко за пределы Леушинского монастыря и его окрестностей. Открыв подворья в г. Санкт-Петербурге, Череповце, Рыбинске, устроив не одну обитель, она излила из них на

окружающий мир свет любви Христовой, приведя к вере многих. Благоустроивая пристани полноводных рек, создавая на них пристанище для сестер, она стремилась к тому, чтобы везде звучала молитва и славословие Богу, приводя многие кораблики — души человеческие — в тихую и мирную гавань Церкви Христовой.

Воспринимая все скорби, беды и болезни как задания, поручения, данные Богом, матушка, несмотря на занятость, слушала и исполняла с помощью Божией многочисленные просьбы нуждающихся, научая и нас самоотверженно служить ближнему по заповеди Божией о любви, забыв себя, стараться не оставаться равнодушным к людским просьбам. Кротко несла она все послушания пред лицом Божиим, научая и нас, подобно псалмопевцу Давиду, тому же: *«Служите Господу со страхом и радуйтесь [перед Ним] с трепетом»* (Пс.2: 11).

Читая автобиографические «Записки игумении Таисии, настоятельницы первоклассного Леушинского женского монастыря», невольно замечаешь смирение матушки, осознание ею своей ничтожности, никчемности пред Богом и людьми. Вспомним, как начинает матушка свои «Записки»: *«Не по своей воле или желанию начинаю я эту запись, и не только не по желанию, но даже и против него; единственно, из послушания людям, гораздо более меня опытным, без сравнения умнейшим меня и более духовным, людям известным не только мне, убогой, но и всем ревнующим о жизни богоугодной и о спасении своих душ»*. О чем говорит это введение? О том, что матушка жила не по своей воле, а по воле Божией, явленной ей в сей раз через окружающих её людей. Как она относится к окружающим? Как к людям более совершенным, чем она. Не раз наставляет она такому смиренному мышле-

нию, упованию во всем не на себя или другого человека, а на помощь Божию и новоначальных инокинь в своих письмах к ним: *«Не на свои немощные и убогие силы полагаясь, а на всемогущую благодать и помощь Божию надеясь, начнем понемногу приучать свое мятущееся сердце к божественной тишине сладчайшего Иисуса, ибо Он есть “един Царь мира”»*¹.

Каждому человеку трудно забыв себя, свои желания, постоянно служить другому, как Самому Богу. Матушка дает на сей счет такую рекомендацию: *«Если будешь смотреть на ближнего, как на близкого (не чуждого) тебе человека, как на собрата твоего, искупленного бесценною кровию Богочеловека и усыновленного Им Отцу Небесному, то, если в сердце твоём теплится хотя малая искра любви к Господу, ты непременно возлюбишь и ближнего твоего, ибо «любяй Бога, любит и брата своего» (1 Ин. 4, 21). Если ты будешь чаще припоминать любвеобильнейшие слова Господа: «Еже сотвористе единому сих братии Моих меньших, — Мне сотвористе» (Мф. 25,40), то никогда ничего не пожалеешь для них — ни вещественного подаяния, ни нравственных для них трудов. Если будешь почаще вглядываться в свои собственные недостатки и проступки, то ни о ком не будешь не только говорить, но и думать дурно, ибо не увидишь чужих погрешностей, когда внимание твое будет сосредоточено на твоих собственных грехах. Да если бы даже и пришлось тебе видеть сестру твою согрешающею, то помысли, что она тотчас же может покаяться, исправиться и загладить свой грех, «силен бо есть Бог возставити ю» (Рим. 14, 4),*

¹ «Письма игуменнии Таисии к новоначальной инокине о главнейших обязанностях иноческой жизни». Письмо тринадцатое.

а ты, осуждающая, можешь ежеминутно согрешить гораздо горше ее и не знаешь, будет ли тебе дано время на исправление и заглаживание греха. Итак, берегись осуждения, угождай всем, считай себя худшею всех, храни любовь ко всем в сердце твоём и проявляй ее на деле; тогда будешь мирствовать и спасешься»².

Очищая свое сердце покаянием, непрестанной молитвой, Причащением Святых Христовых Таин, матушка Таисия сподобилась от Бога видений Святой Троицы, Господа, Богородицы, святых, т.к. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5: 8). Её пример учит нас внимательно вглядываться внутрь своего сердца, в свои мысли и чувства, пытаться познать себя, искоренить греховные страсти.

Учит нас матушка и непрестанному общению с Богом, возношению к Нему мыслей и чувств, молитве. В автобиографических «Записках» она делится содержанием разговоров с Богом, Богородицей и значением для неё молитвенных встреч с Ними, со святыми. Молясь в минуты скорби и радости, находясь в сложных жизненных обстоятельствах, начиная и оканчивая каждое дело молитвой, она наставляет так поступать и других.

Её жизнь дает нам множество примеров помощи обездоленным, сострадательности к ближним. Это и питание алчущих, и денежная помощь нуждающимся, и опека сирот, и подаренная ей неимущим возможность получить образование, профессию, которой можно будет зарабатывать себе на жизнь и мн. др. Отмечая данную добродетель матушки, протоиерей Николай Шиловский, в своем слове во время

² «Письма игумении Таисии к новоназначальной инокине о главнейших обязанностях иноческой жизни». Первое письмо.

литургии 6 января 1915 года, в день отпевания игумении Таисии, произнес: «...оставив нас телом своим, ты, дорогая матушка, не оставила нас душою своею в дивных уроках, какие мы черпали из личного примера твоей многотрудной земной жизни. Ты при жизни всех учила, как нужно жить в Боге и для Бога, как нужно самоотверженно служить ближнему своему; ты часто, забывая нищету и бедноту свою, делилась последним, что имела с бедняком и немущим. Ты не могла равнодушно посмотреть на слезы ближних своих; ты не однажды протягивала руку помощи и врагам своим»³.

Сама став подвижницей из любви ко Христу, матушка делится своим опытом с окружающими: «мы, читая и слушая повествования о великих подвигах святых, часто говорим в свое оправдание: “То были святые!.. То было в те прежние времена! А теперь и люди слабые, и время не то!” Так вот, уразумей из опыта, что и теперь есть истинные подвижницы. Не время, не место делают человека святым, а доброе его произволение и твердая воля. Молись неослабно, и Господь не лишит тебя Своей благодати»⁴.

Следуя примеру жизни матушки Таисии, извлечем из неё уроки, полезные для спасения душ наших и с помощью Божией постараемся, ревностно подвизаться в добродетели, учиться самоотверженно любить Бога и ближних. Глядя на этот негасимый светильник веры, впитывая в себя его свет и тепло, будем старательно поддерживать в своих сердцах пламень любви ко Христу, всегда помня слова духовного завещания матушки: «...Храните веру, ...будьте тверды

³ Новгородские епархиальные ведомости. – 1915 г. — №7. С. 258-259.

⁴ «Письма игумении Таисии к новоначальной инокине о главнейших обязанностях иноческой жизни». Письмо двенадцатое.

в вере и любви ко Господу нашему Сладчайшему Иисусу, кое-го вы носите в сердцах своих. Если пребудете в вере и любви к Господу, то Господь пребудет с вами...».

*Сотрудник комиссии по канонизации подвижников
благочестия Череповецкой епархии Е. А. Силина.*



Жизнеописание
игумении Таисии,
настоятельницы
Иоанно-Предтеченского Леушинского
первоклассного женского монастыря



**Жизнеописание игумении Таисии,
настоятельницы Иоанно-Предтеченского
Леушинского первоклассного женского монастыря.**

*«Верх святости и совершенство состоят не
в совершении чудес, но в чистоте любви. И это
справедливо: чудеса должны прекратиться
и уничтожиться, а любовь всегда останется»*

(1Кор. 13: 8)

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (авва Нестерой)

Любовь ко Христу и ближним стала путеводной нитью в жизни игумении Таисии (Солоповой), великой подвижницы России конца XIX — начала XX века. Самозабвенно любя Спасителя нашего Иисуса Христа, матушка Таисия с самого детства предала себя на служение Господу. Ни уговоры матери, ни предстоящие радости блистательной дворянской жизни, не смогли отлучить её от любви Божией. Терпеливо снося скорби и поношения, болезни и преграды, она сподобилась от Господа тернистого монашеского игуменского креста, став поистине любящей, заботливой матерью не только для вверенных ей Господом сестер Леушинской обители, но и для каждого человека, входящего в её жизнь, обращающегося к ней за помощью. Познав любовь в том, что Христос положил за нас душу Свою (1Ин.3:16), матушка, следуя примеру Господню, полагала душу свою за всякого человека.

Господь говорит: *«по плодам их узнаете их»* (Мф. 7: 20). Апостол Павел раскрывает, что есть плод духовный: *«Плод же*

духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22). Как современники, так и потомки отмечали в матушке плоды духовные, которых удостаиваются от Бога лишь верные рабы Христовы, отвергнувшие из любви ко Спасителю себя, своих желаний.

Милостивая к страждущим и обездоленным, она примером своей жизни учила тому современников, преподает в том урок и нам. Так, подвизаясь в Тихвинском Введенском монастыре, матушка Таисия тайно устраивала обеды для нищих на Пасху, на которых сама прислуживала «дорогим гостям, в лице которых видела Господа»¹. В 1886 году, из своей поездки в Киев, матушка, несмотря на то, что она уезжала без копейки денег, вернулась с двумя маленькими сиротками. Поскольку денег на отдельный билет для сироток не было, она уступила им свою койку².

Игуменья Таисия всеми силами старалась укоренить в Леушинском монастыре традиции благотворительности. Несмотря на то, что Леушинская община была крайне бедна и сестры терпели нужду, даже в таком положении настоятельница находила возможность помогать нищим.

Характерной чертой матушки являлась ее сострадательность. Игуменья Таисия всегда воспринимала чужую боль как свою и стремилась, по мере своих сил, облегчить ее. В послужных списках насельниц Леушинского монастыря неоднократно встречаются упоминания, что они приняты в монастырь как сироты или из сострадания к физическим и умственным недостаткам. При обители имелось несколько

¹ Записки игуменьи Таисии, настоятельницы первоклассного Леушинского женского монастыря: (Автобиография). Пг.: Леушинский монастырь, 1916. С. 63-64.

² Там же. С. 100.

гостиниц, значительная часть помещений в которых была отведена для нищих и убогих, которые жили бесплатно и питались от монастырского стола. Кроме того, матушка устроила при монастыре женское училище, в котором обучались и содержались за монастырские средства дети-сироты, при этом обитель брала на себя обязанности по дальнейшему их трудоустройству.

Святой праведный Иоанн Кронштадский, духовный отец, друг и сомолитвенник игумении Таисии, с радостью и благодарностью отмечал в своих письмах к ней действующую в матушке по благодати Божией любовь Христову, веру, её долготерпение, благость: «Не нарадуюсь я твоей любви о Христе и твоему усердию, выражающемуся столь разнообразно и так постоянно. По плодам их познаете их, говорит Сердцеведец Господь о людях, с коими мы живем и действуем в мире. По сладким плодам любви твоей и я знаю тебя вот уже около 35-ти лет. За все это время любовь твоя о Христе изливалась постоянно чистою струей — неоскудно везде и во всяких видах: то в приготовлении прекрасных риз, то — митр, то — тонкого белья, то — разных книг душеполезных, а главное — помогала мне в устройении всех моих обителей; да и не перечислишь всего. Но особенно ты утешала меня своею беззаветною преданностью Христу Спасителю, словесное стадо Которого ты собрала и пасла и пасешь доселе на пажити спасительной; — за что дай Бог тебе и им всем — добрым послушницам — Царство Небесное»³.

³ Письма о. протоиерея Иоанна к настоятельнице Иоанно-Предтеченского Леушинского первоклассного монастыря игумении Таисии. Письмо 140. Валулово. 9 июля 1907 г. СПб.; Синодальная типография, 1909. С. 93.

«Поучительно твое письмо, потому что все проникнуто святою любовью. Не даром ты горячо любишь и особенно проповедника и осуществителя Христовой заповеди — “любите друг друга”»⁴.

«Истинно, не иссякаем источник твоей ко мне о Господе любви, которая сходит к моим немощам и опущениям»⁵.

«Ты, по слову Господню, из глубины благого сердца своего износишь благое слово, потому что душа твоя полна благими чувствами. Это — твое духовное богатство, которым были богаты все нетленные подвижницы»⁶.

Священнослужители Леушинского монастыря, хорошо знавшие матушку, также отмечали её неоскудевающую материнскую во Христе любовь. Священник Клавдий Екатерининский 23 марта 1901 года в слове, обращенном к матушке по случаю 20-летия её настоятельской деятельности, отметил: «Своим бдением, молитвами и своею жизнью Вы воспитали многих и славных инокинь. ...Своею материнскою любовью к своим чадам — сестрам обители Вы заслужили такую любовь их, что каждая из них готова за Вас свой живот положить и каждая старается жить как можно лучше, чтобы не огорчить свою Матушку»⁷. Как видим, духовное руководство матушки сестрами, её наставление: «Начни с любви, она выше всех всесождений и жертв»⁸ принесло свои плоды.

⁴ Там же. Письмо 147. Ваулово. 27 мая 1908 г. СПб.; Синодальная типография, 1909. С. 97.

⁵ Там же. Письмо 149. 20 августа 1908 г. СПб.; Синодальная типография, 1909. С. 99.

⁶ Там же. Письмо 137. 16 января 1907 г. СПб.; Синодальная типография, 1909. С. 90.

⁷ «Скромное торжество в обители» // Новгородские епархиальные ведомости № 13 от 1 июля 1901 г. С. 868-871.

⁸ Письма игумении Таисии к новоназначальной инокине о главнейших обязанностях иноческой жизни // Сочинения игумении Таисии (Солоповой). М.,

Протоиерей Леушинского монастыря Александр Светловский, отмечая глубокую веру и любовь матушки Таисии, в 1915 году в надгробной проповеди произнес: «Только особым действием благодати Божией и можно объяснить такой необыкновенно быстрый рост нашей обители. Такие молитвенники, как отец Иоанн Кронштадтский, и низвели эту благодать. Но эти сильные своею молитвою по чьим просьбам оказывались здесь? Что поднимало их руки к небу и исторгало слезы за обитель сию? По чьему ходатайству все это было? Да по ходатайству все той же, незабвенной, ныне преставльшейся Игумении Таисии. Вот, что значит вера и глубокая любовь к своему делу. Иисус Христос говорил: «Аще имате веру яко зерно горушно и речете горе сей: преиди отсюда тамо, и преидет, и ничтоже невозможно будет вам». И мы видели осуществление этих слов на покойной дорогой нашей матушке Игумении. Слава Богу, воздвигающему таких деятелей в Церкви Христовой; и глубокая благодарность и земной поклон почившей за все ее хлопоты, за ласки, за любовь!»⁹

Любовью служа другим при жизни, матушка Таисия с материнской заботой думала о спасении ближних и об их дальнейшей участи, которая ждет их после её смерти, поэтому в своем духовном завещании, составленном 27 апреля 1907 года, она оставила наказ, главным содержанием которого являлась основа всей её жизни — хранение веры и любви ко Христу: «...будьте тверды в вере и любви ко Господу нашему Сладчайшему Иисусу, коего вы носите в сердцах

Вентана-Граф, 2006. С.189.

⁹ Памяти игумении Таисии. Слово, сказанное 6 января 1915 года пред отпеванием настоятельницы Леушинского первоклассного женского монастыря игумении Таисии священником того же монастыря Александром Светловским// Новгородские епархиальные ведомости. – 1915. – №8. С.288.

своих. Если пребудете в вере и любви к Господу, то Господь пребудет с вами...»¹⁰.

Духовные плоды матушки нашли свое выражение в её широкой и продуктивной деятельности по строительству храмов, устройству монастырей, созданию церковных школ, воспитанию монахинь, из которых потом вышла целая плеяда настоятельниц — игумений и пр. Отмечая активную храмостроительную деятельность игумении Таисии, священник Александр Светловский называет и её причину: желание матушки «не только среди сестер утвердить благочестие, но и народ сблизить с церковью, ...ей хотелось, и она домогалась, чтобы церковность насажденная в монастыре, шла и далее за ограду его, входила бы во все стороны, проникала бы, так сказать, во все поры бытовой крестьянской жизни»¹¹.

Роль игумении Таисии в истории женского монашества велика. Матушка Таисия духовно вырастила и воспитала целую плеяду будущих подвижниц благочестия: схиигумению Ангелину, настоятельницу Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге, схиигумению Надежду, настоятельницу Сурского монастыря, 10 игумений: преподобномученицу Серафиму и Мартиниану (настоятельниц Ферапонтова монастыря), Иларию (настоятельницу Успенского Полновского монастыря), Таисию и Веронику (настоятельниц Воронцовского монастыря), Руфину (настоятельницу Парфеновского монастыря), Антонину и Маргариту (настоятельниц Черноезерской пусты-

¹⁰ Духовное завещание игумении Таисии // Кронштадтский пастырь. 1915. № 4. С. 64-67.

¹¹ Памяти игумении Таисии. Слово, сказанное 6 января 1915 года пред отпеванием настоятельницы Леушинского первоклассного женского монастыря игумении Таисии священником того же монастыря Александром Светловским // Новгородские епархиальные ведомости. — 1915. — №8. С.286-287.

ни), Филарету (настоятельницу Филаретовой и Рдейской пустыней), Агнию (настоятельницу Леушинского монастыря).

На освящении храма последнего монастыря Иоанн Кронштадтский сказал леушинской настоятельнице замечательные слова: *«Поздравляю тебя, матушка, с радостью и с новым великим делом возникновения новой обители. Ты подобна преподобному Сергию Радонежскому, изводишь из сестер своей обители настоятельниц и учредительниц других обителей, искусных инокинь, которые по слову апостола «довольны будут и других научить» — великая тебе за это награда от Господа»*¹².

В одном из писем, обращаясь к деятельности матушки по устройению новых монастырей, святой праведный Иоанн Кронштадтский очень лаконично и точно охарактеризовал ее: *«Ты Царство Божие водворяешь, а врага бесплотного гонишь»*¹³. Действительно, во всех новых обителях матушка стремилась привить дух любви и милосердия, каждый раз посрамляя бесплотного врага.

Матушка Таисия оказала влияние на устройство монастырей не только в России, но и в Америке. Архимандрит Герман (Подмошенский) рассказывал о том, как иеромонах Серафим Роуз работал над переводом «Келейных записок» матушки: *«...Пришло время и нужно было показать... американцам, а особенно американкам, что есть тип преподобных русских женщин, подвижниц, и вот доказательство. Для этого нужно было выпустить эту книгу. ...Когда мы издали «Келейные записки» Игумении Таисии, то большой интерес поднялся среди женщин-американок. Так что сейчас у нас уже пять*

¹² Путешествие о. протоиерея Иоанна Кронштадтского // Вестник Санкт-Петербургского градоначальства и полиции. 1902. № 156.

¹³ Письма о. протоиерея Иоанна к настоятельнице Иоанно-Предтеченского Леушинского первоклассного монастыря игумении Таисии. Письмо 75. 4 декабря 1901 г. СПб.; Синодальная типография, 1909. С. 46.

женских маленьких монастырей. А началось все с Таисии... [Она] можно сказать единственная святая, настоящая святая, [которая] говорит о своей жизни»¹⁴.

Приобретенный лично опыт духовной жизни матушка для назидания сестер изложила в «Письмах игумении Таисии к новоначальной инокине о главнейших обязанностях иноческой жизни». Эта книга стала настольной не только у монашествующих, но и у мирян. И поныне опыт жизни досточтимой игумении Таисии служит назиданием нашим современникам.

Игуменья Георгия, настоятельница Горненского монастыря в Иерусалиме писала: «духовное наследие этой великой подвижницы и избранницы Божией поучительно и полезно не только для тех, кто избрал для себя монашеский путь, но и для каждого человека, стремящегося к Богопознанию, самосовершенствованию. ...«Письма» Матушки игумении Таисии характеризуются лаконичностью, простотой и точностью языка, доступного восприятию людей разного духовного развития, взглядов, образования. Обращает внимание на себя не только глубокое знание ею Священного Писания, святоотеческой и аскетической литературы, но также опора на собственный духовный и религиозный опыт. Стержнем и основой этого опыта становится главное, с нашей точки зрения, качество души Матушки Таисии — жертвенная любовь к Богу и ближним, любовь, прошедшая через испытания скорбями, страданиями и искушениями... «Письма к новоначальной инокине» при всей сжатости и лаконичности формы необычайно богаты по своему внутреннему наполнению и содержат фактически обобщение всего первоначального опыта иноческой жизни. Они дают ответы на вопросы, ко-

¹⁴ Леушино. 2005. № 2.

торые неизбежно возникают перед каждым человеком, вступающим на путь духовной жизни, предупреждают о тяжести иноческого креста, о возможных ошибках и падениях и, главное, указывают способы их преодоления»¹⁵.

Игуменья Елисавета, настоятельница Свято-Троицкого Стефана-Махрицкого ставропигиального женского монастыря, также отмечает необходимость передачи приобретенного матушкой Таисией опыта духовной жизни современникам: «Все сестры Стефана-Махрицкого монастыря прочли книгу «Записки игумении Таисии», которую я рекомендую читать каждой новоначальной сестре, считаю, что эта книга весьма полезна для духовного становления монашествующих».

Историк В. О. Ключевский писал: «Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное время, делавшие исторически известное жизненное дело, но имена, которые уже утратили хронологическое значение, выступили из границ времени, когда жили их носители. Это потому, что дело, сделанное таким человеком, по своему значению так далеко выходило за пределы своего века, своим благотворным действием так глубоко захватило жизнь дальнейших поколений, что с лица, его сделавшего, в сознании этих поколений постепенно спадало все временное и местное, и оно из исторического деятеля превратилось в народную идею, а самое дело его из исторического факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом. Такие люди становятся для грядущих поколений не просто великими покойниками, а вечными их спутниками, даже путеводителями, и целые века благоговейно твердят их дорогие

¹⁵ Из предисловия к четвертому изданию «Писем к новоначальной инокине о главнейших обязанностях иноческой жизни», СПб., Леушинское издательство, 2003 г. С.5-6.

имена не столько для того, чтобы благодарно почтить их память, сколько для того, чтобы самим не забыть правила, ими завещанного»¹⁶. Такой великой личностью, несущей сквозь века в мир свет любви Христовой, является игумения Таисия (Солопова).

Игумения Таисия (в миру — Мария Васильевна Солопова) родилась 4 октября (ст.ст.) 1842 года¹⁷ в г. Санкт-Петербурге в семье морского офицера Василия Васильевича Солопова и дворянки из рода Пушкиных Виктории Дмитриевны.

Долгое время супруги не имели утешения в детях, которые умирали во младенчестве. Как вспоминала мать будущей Леушинской настоятельницы: *«Я уже отчаялась иметь утешение в детях, утешение единственное, по мнению моему, доступное мне. Много и горячо молилась я о том, чтобы Господь не лишил меня этого утешения, дал бы мне хотя одно дитя, оставив его в живых; особенно же молилась я об этом Матери Божией... И не посрамила меня Владычица, Надежда ненадежных. Она даровала мне дитя — дочь, которую я из чувства благодарности к Ней назвала Ее именем — Марии»*¹⁸.

Таким образом, игумения Таисия была в самом буквальном смысле вымолена у Господа и Богородицы, что во многом предопределило ее дальнейший жизненный путь. Примечательно, что свое мирское имя она получила в честь Пресвятой Владычицы. Крещена же будущая настоятельница была в честь преподобной Марии Константинопольской

¹⁶ Ключевский В.О. Значение преподобного Сергия для русского народа и государства. Речь на собрании Московской Духовной Академии в память преподобного Сергия Радонежского//«Богословский вестник», 1892 г. XI.

¹⁷ ЦГИА Санкт-Петербурга. Ф.7. Оп. 2. Д.113. Л.44об-45.

¹⁸ Записки игумении Таисии, настоятельницы первоклассного Леушинского женского монастыря: (Автобиография). Пг.: Леушинский монастырь, 1916. С. 4.

(память 26 января по старому стилю), поскольку в православии из чувства благоговения не принято давать детям имена Господа и его Пречистой Матери.

Во исполнение обещания, данного Пресвятой Богородице, Виктория Дмитриевна с младенчества воспитывала дочь в страхе Божиим, любви к Господу и ближним, благодаря чему Мария с детских лет всем сердцем полюбила Бога.

Очищая свое сердце покаянием, непрестанной молитвой, Причащением Святых Христовых Таин, Мария ещё в детстве сподобилась от Бога видений Господа, святых, ангелов, поскольку *«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»* (Мф. 5: 8). Эти видения предопределили выбор ею жизненного пути.

Когда она была еще во втором классе и лежала в госпитале института больная корью, ей в ночь под Светлую Пасху явился ангел: *«существо солнцеобразно-светлое, крылатое, летающее под потолком и повторяющее человеческим голосом слова: “Христос Воскресе! Христос Воскресе!” О, какую неземную радость почувствовала и моя детская душа»*¹⁹.

В том же году в ночь на 16 августа после Причащения Святых Таин Мария удостоилась видения сонма святых, беседы с апостолом Матфеем и встречи с Самим Господом нашим Иисусом Христом²⁰.

О своем видении она рассказала институтскому духовнику, который посоветовал сохранить видение в тайне и во всем уповать на Господа²¹.

В годы учебы в институте Марию за ее глубокую религиозность нередко называли *«монахиней»*, *«игуменьей»*, а если

¹⁹ Там же. С. 8.

²⁰ Там же. С. 9-12.

²¹ Там же. С. 13.

кому-то не угодит, то и «святошей»²². Из беллетризованных воспоминаний одноклассницы Н. А. Лухмановой, видно, что главным в жизни Марии была молитва. Вот характерный пример: *«в дортуаре скоро настала полная тишина. Только Солопова била поклоны, стоя у кровати на голом полу босиком, в одной рубашке»*²³.

Во время своего обучения в институте Маша Солопова очень часто болела, но переносила свои болезни стойко, не ропща, в чем являлась примером для своих одноклассниц. Девочки в сложных ситуациях обращались к Марии за советом. Часто она мирила их в ссорах, за что снискала любовь у ровесниц²⁴.

В 1861 году Мария сдала выпускные экзамены и вышла из института с аттестатом²⁵, в котором стояли почти одни пятерки. На экзамене по Закону Божию ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии Преосвященный епископ Иоанникий (будущий митрополит Московский и Киевский) был весьма удивлен тем, что выпускница Института знала наизусть все Евангелие на церковно-славянском языке. На его изумленный вопрос Мария Солопова ответила: «Каждое слово Евангелия так приятно и отрадно для души, что мне хотелось его всегда иметь при себе, а так как с книгой не всегда удобно быть, то я вздумала заучить все, тогда всегда оно будет при мне в моей памяти»²⁶.

²² Там же. С. 8.

²³ Лухманова Н.А. Девочки. Воспоминания из институтской жизни. Санкт-Петербург, Издание Павловской гимназии и Леушинского подворья, 2015. С.46.

²⁴ Там же.

²⁵ ЦГИА Санкт-Петербурга. Ф.7. Оп.2. Д.126. Л.30.

²⁶ Записки игумении Таисии, настоятельницы первоклассного Леушинского женского монастыря: (Автобиография). Пг.: Леушинский монастырь, 1916. С.17.

По завершении своего обучения Мария сделала свой жизненный выбор — решила уйти в монастырь, но столкнулась с неожиданным препятствием в лице горячо любимой матери. Виктория Дмитриевна воспротивилась её заветному желанию.

Около 6 месяцев по окончании института Мария прожила в Боровичах, в доме, оставленном ей дедом. Жила она уединенно, каждый день посещая Свято-Духов мужской монастырь. В этот период Мария познакомилась с замечательными подвижниками благочестия XIX века архимандритами Вениамином (Поздняковым) и Лаврентием (Макаровым), которые взяли будущую игумению под свое духовное окормление и стали ее наставниками и руководителями в иноческой жизни.

Мать, вразумленная Богородицей, дала благословение на её монашескую жизнь.

В 1860-х годах Мария поступила в Тихвинский Введенский монастырь, где провела 9 лет.

Здесь она удостоилась многих благодатных видений: Господа, Божией Матери и даже Пресвятой Троицы (уникальный случай в истории женской святости). Вот как матушка вспоминала об этом:

«Видится мне, что я вхожу с южной стороны в какую-то небольшую церковь или часовню (не знаю). Посреди, как бы обратясь к иконостасу, или чему-то вроде того, стоят трое, равные и ростом, и одеждой, и по всему одинаковые (не знаю, как их назвать); имеют они подобие людей, только головы их как бы в тумане, я их почти не вижу. Кроме меня и их, никого нет, — церковь пуста. Меня заинтересовали эти существа, и я довольно смело стала подходить к ним то с той, то с другой стороны, стараясь рассмотреть, кто они. Когда подошла справа, то стоявший с этой стороны обратился ко мне с вопросом: «Какой это монастырь?» Я отвечала: «Введен-

ский». Он снова спросил: «А сколько лет ты здесь живешь?» Я ответила: «Три года». На это Он говорит мне: «Три года ты живешь в монастыре, а не знаешь, какое имя твоему монастырю». Я стала оправдываться и утверждать, что хорошо знаю, что имя моему монастырю «Введенский». Тогда Он подозвал меня поближе к себе и продолжал: «Если ты не знаешь, какое имя этому монастырю, то я скажу тебе: он — Крестокрещенский».

Я и тут противоречила Ему, продолжая спорить, и даже возразила, что «и слова-то такого (крестокрещенский) нет». В это время я увидела главу Его, как главу Спасителя, как она пишется на иконах; в левой руке Своей Он держал огромный деревянный крест, на который Он как бы опирался, а правой рукой Он слегка касался моего плеча и, ударяя ей по плечу, продолжал: «Говорю тебе, — Крестокрещенский; не понимаешь, — так слушай, Я объясню тебе: как христианский младенец крещается водой и Духом, иначе не может быть христианином, так и младенец-монах крещается крестом, — иначе не может быть монахом. — Разумеешь ли теперь?» — прибавил Он. Я (уже и во время речи Его) познала в Нем Господа и в умилении и радости воскликнула: «Так, Господи, разумею, что надо все терпеть ради Твоего Креста». Я проснулась в величайшей радости и умилении; плечо мое еще как бы ощущало на себе прикосновение ударявшей его слегка руки»²⁷.

Во Введенском монастыре в полной мере проявились лучшие христианские качества Марии: смирение, беспрекословное послушание, любовь к ближним, милосердие. Даже находясь безвыходно в стенах обители, матушка не переставала помогать нищим, приглашая их ежегодно на Пасху.

²⁷ Записки игуменнии Таисии... С. 53-54.

13 мая 1870 г. Мария была пострижена в рясофор с именем Аркадия. В 1872 г., по благословению своего духовника старца Лаврентия, она перешла в Покровский Зверин монастырь в Новгороде, где подвизалась 6 лет, исполняя послушание регента. Здесь матушка написала акафист святому праведному Симеону Богоприимцу. В 1878 году инокиня Аркадия была переведена в Знаменский Званский монастырь, располагавшийся на Волхове в 70 верстах от Новгорода, на должность казначеи. В этой обители по указу Новгородской духовной консистории от 16 ноября 1879 г. она была пострижена в монашество с наречением имени Таисия в честь блаженной Таисии Египетской.

А в марте 1881 году ее назначили начальницей неустроенной и даже предназначенной к упразднению Леушинской женской общины Череповецкого уезда, о чем матушка была предуведомлена очередным благодатным видением. Ей приснился сон, в котором она увидела себя идущей по ржаному полю, которое ей предстоит выжать. Далее ей пришлось преодолеть огромное пространство налитой воды, постепенно скрывшее её по шею. Она испугалась, что утонет, т.к. не умела плавать, и в этот момент прямо ей в руку с неба упал настоятельский посох, опираясь на который, она благополучно миновала препятствие и оказалась у монастырской ограды²⁸.

В годы настоятельства обителью игумении Таисии пришлось преодолеть немало искушений и скорбей, клеветы. Чувствуя себя не в силах противостоять им, матушка даже решила оставить управление общиной. И в этот момент увидела необычный сон, в котором Божия Матерь разговаривала с Иоанном Предтечей. Пресвятая Богородица ободрила матушку и укрепила её веру, сказав, что они с Иоанном Крестителем

²⁸ Там же. С. 86-88.

всегда хранят Свою обитель. После этого игуменья Таисия твердо решила терпеть и трудиться на благо монастыря²⁹.

Скорби не оставляли матушку. В 1883 году с ней случился инсульт, следствием которого стал двусторонний паралич, осложненный воспалением легких. От этой болезни матушку излечил архангел Михаил³⁰.

Подвиг терпеливого, смиренного несения скорбей не остался без награды. В Леушино игуменья Таисия удостоилась видения Божией Матери, которая благословила место для устройства храма и дальнейшие труды настоятельницы³¹.

Собор Похвалы Пресвятой Богородицы был построен по проекту Санкт-Петербургского архитектора, академика М. А. Щурупова в короткое время, несмотря на то, что матушке так и не удалось найти ни одного крупного благотворителя. Игуменья Таисия сама занялась сбором средств, для чего совершала поездки и днем, и ночью. В своих записках она писала позднее, что каждый кирпич этого храма «обильно пропитан слезами моими»³². Для современников появление прекрасного величественного собора в Леушинском монастыре, не имеющем ни денег на его строительство, ни крупных благотворителей, было явным чудом, благословением Божиим.

По словам святого праведного Иоанна Кронштадтского Господь благословил труды матушки: «Как не благословит, уже благословил. Такой храм построила в такое короткое время при полном отсутствии средств»³³.

²⁹ Там же. С. 89-90.

³⁰ Там же. С. 99-100.

³¹ Там же. С. 101-102.

³² Записки игумении Таисии // Сочинения игумении Таисии (Солоповой). М., Вентана-Граф, 2006. С.115.

³³ Беседы о. протоиерея Иоанна с настоятельницей Иоанно-Предтеченского Леушинского первоклассного монастыря игуменией Таисией: С призовоку-

После строительства Похвальского собора с помощью Божией матушка продолжала деятельно творить дивные для современников дела: на скудные доходы игуменией Таисией было устроено несколько десятков храмов, часовен, подворий и келейных корпусов. В этой связи интересен отзыв о деятельности матушки череповецкого городского головы И. А. Милютина, сделанный в самом начале ее храмостроительской деятельности — 28 марта 1891 года: *«Мать Таисия обладает большими созидательными способностями. Она создала в какие-нибудь 10 лет религиозно-просветительский муравейник с просветительно-культурным направлением в таких размерах, в каких земства целой губернии ничего подобного в гражданско-экономическом направлении не создали, несмотря на то, что располагали всеми платежными силами населения самодержавно. В монастыре теперь: и школа начальная, и школа профессиональная, приближающаяся теоретическим курсом к прогимназии, всевозможные виды рукоделия, художественная живопись»*³⁴.

По глубокому смирению, которое являлось характерной чертой игумении Таисии, она никогда не приписывала себе успехи родного монастыря. В ответ на слова похвалы в ее адрес, сказанные на 20-летнем юбилее игуменства, она кратко ответила: *«Все сделанное в Леушине, не я сделала, а совершил Господь через мою немощь»*³⁵.

С 1891 года игумения Таисия становится одним из самых близких духовных чад святого праведного Иоанна Кронштадтского, по благословению которого она устроила и возобновила около десятка монастырей и скитов: 11 монастырей, 3 скита,

плением описания некоторых особ. событий из жизни игумении Таисии. СПб.: Синодальная тип., 1909. С. 4.

³⁴ ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 75. Д. 90. Л. 3-4.

³⁵ Скромное торжество в обители // Новгородские епархиальные ведомости. 1901. № 13. С. 870.

15 подворий были обязаны настоятельнице своим существованием и процветанием. Многие из них сейчас возрождены. Традиции Леушинского монастыря продолжает Новолеушинский Иоанно-Предтеченский женский монастырь с. Мякса Череповецкой епархии. Возобновляется монашеская жизнь на Санкт-Петербургском Леушинском подворье при храме Иоанна Богослова. Во всех перечисленных обителях совершаются монашеские постриги, и сестры на своем иноческом пути стараются подражать игумении Таисии.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский очень высоко отзывался о духовных дарованиях игумении Таисии, открыто называя ее «святой», «подвижницей», «угодницей Божией», «богопризванной», «боголюбезной», «избранницей Царицы Небесной», а себя подчас именуя ее «духовным сыном» и «послушником». Даже общепринятое обращение к игумениям «Ваше Высокопреподобие» он переименовал, называя свою духовную дочь не «высокопреподобием», а «высокопреподобной», то есть святой. Вот одно из характерных обращений к матушке: «Кланяюсь тебе, святой старице, и целую твою священную главу, мыслящую непрестанно, яже суть Божия»³⁶. Сознывая, что её молитва имеет дерзновение перед Господом, святой просил матушку молиться за него³⁷.

Духовную чистоту матушки высоко ценили будущие святые страстотерпцы император Николай II и императрица Александра Федоровна. В 1904 году игумения Таисия была

³⁶ Письма о. протоиерея Иоанна к настоятельнице Иоанно-Предтеченского Леушинского первоклассного монастыря игумении Таисии. СПб.: Синодальная тип., 1909. С. 89-90.

³⁷ Беседы о. протоиерея Иоанна с настоятельницей Иоанно-Предтеченского Леушинского первоклассного монастыря игуменией Таисией: С присовокуплением описания некоторых особ. событий из жизни игумении Таисии. СПб.: Синодальная тип., 1909. С. 4.

впервые представлена Государыне Императрице Александре Феодоровне, и с этого времени их связывали глубокие духовные отношения. 7 мая 1908 года ей был пожалован императрицей портрет наследника престола цесаревича Алексея Николаевича. 12 марта 1910 года императрица Александра Федоровна пожаловала матушке свой портрет с собственноручной надписью. В 1911 году Игуменья Таисия имела честь представляться Государю Императору Николаю II и всей Августейшей Семье. В том же году ей были подарены портреты Царственной Четы с собственноручными подписями, позднее — аметистовые четки. Всего она представлялась императорской семье 7 раз, случай исключительный для игумении удаленного от крупных городов монастыря.

Священноначалие также высоко ценило труды матушки во славу Церкви Христовой. В 1885 году она получила благословение Священного Синода с грамотой. В 1889 году была награждена золотым наперсным крестом, от Священного Синода выдаваемым. 15 мая 1892 года митрополит Исидор возложил на игумению Таисию золотой наперсный крест с украшениями из кабинета Его Императорского Величества (высшая церковная награда, доступная настоятельнице). Кроме того, игумения Таисия получила благословение Священного Синода с грамотой «за благочестную иноческую жизнь и особые труды по управлению монастырем» 6 мая 1897 года и 6 мая 1902 года.

Матушка Таисия написала значительное число замечательных духовных книг, в том числе «Письма к новоначальной инокине», «Духовные стихотворения», «Беседы с о. Иоанном Кронштадтским», «Келейные записки». Прочитав последние о. Иоанн Кронштадтский написал: «Дивно, прекрасно, божественно! Печатайте в общее назидание»³⁸. В них она учит мо-

³⁸ Записки игумении Таисии... С. I.

литве, непрестанному общению с Богом, возношению к Нему мыслей и чувств, терпеливому и благодарному перенесению скорбей, добровольному их избранию, воздержанию, послушанию, стяжанию любви Христовой, избеганию суетных попечений, празднословия, осуждения и др.

Например, делая сестрам наставления о молитве, матушка пишет: «Внутреннюю же, тайную молитву может и должен держать каждый, по слову Апостола: *«Потаенный сердца человек в неистлении кроткаго и молчаливаго духа»* (1 Пет. 3, 4), предстоя пред Господом. ... Долговременный, неослабный труд, постоянное самопринуждение, как я сказала, потребны для стяжания внутренней непрестанной молитвы. ... она (молитва — коммент. авт.) доступна и удобна при всяком физическом труде, при всяком житейском занятии, при вкушении пищи и питья, при прогулке, при исполнении общественных послушаний, и всегда и во всякое время дня и ночи, лишь бы ум и сердце внимали своему «внутреннему деланию»³⁹.

На счет стяжания любви Христовой матушка дает такую рекомендацию: «Если будешь смотреть на ближнего, как на близкого (не чуждого) тебе человека, как на собрата твоего, испупленного бесценною кровию Богочеловека и усыновленного Им Отцу Небесному, то, если в сердце твоём теплится хотя малая искра любви к Господу, ты непременно возлюбишь и ближнего твоего, ибо *«любяй Бога, любит и брата своего»* (1 Ин. 4, 21). Если ты будешь чаще припоминать любвеобильнейшие слова Господа: *«Еже сотвористе единому сих братии Моих меньших, — Мне сотвористе»* (Мф. 25,40), то никогда ничего не пожалеешь для них — ни вещественного подаяния, ни нрав-

³⁹ Письма игумении Таисии к новоначальной инокине о главнейших обязанностях иноческой жизни//Сочинения игумении Таисии (Солоповой). Письмо тринадцатое. М., Вентана-Граф, 2006. С. 229.

ственных для них трудов. Если будешь почаще вглядываться в свои собственные недостатки и проступки, то ни о ком не будешь не только говорить, но и думать дурно, ибо не увидишь чужих погрешностей, когда внимание твое будет сосредоточено на твоих собственных грехах. Да если бы даже и пришлось тебе видеть сестру твою согрешающею, то помысли, что она тотчас же может покаяться, исправиться и загладить свой грех, «силен бо есть Бог возставити ю» (Рим. 14, 4), а ты, осуждающая, можешь ежеминутно согрешить гораздо горше ее и не знаешь, будет ли тебе дано время на исправление и заглаждение греха. Итак, берегись осуждения, угождай всем, считай себя худшею всех, храни любовь ко всем в сердце твоём и проявляй ее на деле; тогда будешь мирствовать и спасешься»⁴⁰.

Читая автобиографические «Записки игумении Таисии, настоятельницы первоклассного Леушинского женского монастыря», невольно замечаешь смирение матушки, осознание ею своей ничтожности, никчемности пред Богом и людьми. «Видишь, — и оправданиям Господним, то есть благоугождению Господу, не научиться без смирения и самоуничижения. Десять дев в полуночи ожидали пришествия небесного Жениха; но только половина их была принята в чертоги Его, а остальные, как не имевшие елея во светильниках своих, к стыду своему и прискорбию, не только не были допущены в чертог, но и слышали грозные слова Жениха: *«аминь глаголю вам: не вем вас»* (Мф. 25, 12). Смотри, чтобы этот недостаток елея не оказался и в тебе недостатком смирения и послушания, без коих угаснет твой светильник веры и мнимого усердия»⁴¹.

Особый вклад внесла матушка и в дело сохранения и преумножения духовного и культурного наследия России. Игуменья

⁴⁰ Там же. Письмо первое. М., Вентана-Граф, 2006. С. 189.

⁴¹ Там же. Письмо третье. М., Вентана-Граф, 2006. С. 196.

Таисия добилась организации всероссийского сбора на восстановление архитектурного ансамбля Ферапонтова монастыря, благодаря чему была проведена его научная реставрация.

Ровно за три года до кончины во время тяжелой болезни матушка удостоилась видения Иоанна Кронштадтского, показавшего особое попечение о ней святого и ставшего своеобразным предсказанием ее посмертной участи (быть рядом с ним)⁴².

Игуменья Таисия преставилась 2 января 1915 года в Леушинском монастыре и была погребена в специально устроенном склепе в правом приделе собора в честь Похвалы Божией Матери.

Почитание игуменнии Таисии как святой старицы началось еще при ее жизни, свидетельством чему служат высказывания о ней духовного отца — святого праведного Иоанна Кронштадтского. Продолжилось оно и после блаженной кончины матушки, причем не только в России, но и за рубежом, где издаются ее сочинения. В частности, в США изданы на английском языке «Келейные записки» и «Письма к новоначальной инокине». Последнее произведение вышло также в Греции в греческом переводе.

Митрополит Вениамин (Федченков; † 04.10.1961 г.) в своем фундаментальном труде «Отец Иоанн Кронштадтский» отдельную главу посвятил леушинской настоятельнице, отметив: «Отец Иоанн чтит ее как угодницу Божию. Довольно послушать лишь, какими именами он титуловал ее в письмах своих... Из одних этих приветствий можно видеть, как высоко смотрел о. Иоанн на эту его сотрудницу в монастырских делах и вообще его духовную знакомую-дочь, сестру и мать. Если сказать кратко, то он почитал ее как благодат-

⁴² Светлой памяти доброго Кронштадтского пастыря // Кронштадтский пастырь. 1912. № 18. С. 316-318.

ную, богоугодную монахиню, святую, говоря словами апостола Павла, христианку (см.: 2 Кор. 13, 12; Флп.4, 21 и др.); или, как говорят наши православные, «угодницу Божию». Следовательно, она и была таковой действительно, если Батюшка почитал ее «благодатною»⁴³.

Это авторитетное высказывание является лучшим свидетельством почитания матушки как святой и в среде русской эмиграции, и в советской России, куда митрополит Вениамин вернулся в 1945 г.

Но особенно широкое почитание игумении Таисии началось в конце 1990-х годов после возвращения к русскому читателю ее сочинений. С 1999 года установилась традиция проведения близ села Мякса Череповецкого района на берегу Рыбинского водохранилища молебнов и чтений акафистов в память о затопленном Леушинском монастыре и его настоятельнице. В селе Мякса устроен храм, освященный в честь Рождества Иоанна Предтечи (также в память о Леушинском монастыре). О игумении Таисии и дорогом ее сердцу Леушине снято несколько фильмов, написано несколько сотен статей, регулярно проводятся чтения и конференции её имени, лекции, концерты, паломнические поездки. Продолжают переиздаваться её книги, которые являются настольными для многих верующих людей.

К матушке обращаются за молитвенной помощью и получают просимое. Известны случаи исцелений от болезней и помощи в житейских проблемах, спасения на водах по молитвенному предстательству игумении Таисии⁴⁴.

⁴³ Вениамин (Федченков). Отец Иоанн Кронштадтский. М., 2000. С. 126-158.

⁴⁴ См., например: Кирилла (Червова), монахиня. По молитвам к матушке Таисии : современные случаи чудесной помощи по обращениям к Леушинской игумении // Благовестник. – 2015. – № 1-2. – С. 33-36; Киприан, иеромон. «Див-

Матушка Таисия, как своим современникам, так и потомкам являет образец высокой христианской жизни, православия безукоризненного, человека, всецело, без остатка посвятившего себя на служение Богу, Святой Церкви и Отечеству. В жизненном пути игумении Таисии исполнились апостольские слова святого Павла: «будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. ...Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых» (1Кор.9: 19–22).

Именно о таких угодниках Божиих писал святитель Иоанн Златоуст: «Для того благодать Духа и описала для нас жизнь и деятельность всех святых... чтобы мы узнали, как они, будучи одного с нами естества, совершили всякую добродетель, чтобы и мы не ленились подвизаться в ней».

*Сотрудники комиссии по канонизации подвижников благочестия Череповецкой епархии иерей
Сергий Бондарь, М.Г. Мальцев, Е.А. Силина.*

но, прекрасно, божественно...»: рассуждения о факте явления Святой Троицы игумении Таисии (Солоповой) // Благовестник. – 2015. – № 1-2. – С. 37-38.



Затиски
игумении Таясии,
настоятельница
Иоанно-Предтеченского Леушинского
первоклассного женского монастыря



*Благословляю печатать эту книгу, как
достойную печати, на память будущим
родам и во славу Божию.*

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

ЗАПИСКИ ИГУМЕНИИ ТАИСИИ НАСТОЯТЕЛЬНИЦЫ ПЕРВОКЛАССНОГО ЛЕУШИНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

Предисловие к изданию Леушинского монастыря 1916 года

Записки игумении Таисии, известной своей высокой духовной жизнью, своими трудами по благоустройению нескольких женских обителей и своими духовными стихотворениями и «Письмами к новоначальной инокине», являются автобиографией почившей и доведены до начала жизни ее в Леушине. Они написаны были ей в разное время, и последний очерк относится к 1892 г. По глубокому смирению своему, м. Таисия не решалась предавать печати эти записки, хотя знаменитый молитвенник о. Иоанн Кронштадтский, питавший особое почтение и любовь к почившей, желал видеть их напечатанными. Он читал эти записки и собственноручно написал в конце одной тетради записок: **«Благословляю печатать эту книгу, как достойную печати, на память будущим родам и во славу Божию. Прот. И. Сергиев, 31 окт. 1906 г.»**, и на другой тетради записок: **«Дивно, прекрасно, божественно, печатайте в общее назидание. Прот. И. Сергиев, авг. 21, 1892 г.»**

В настоящее время преемница м. игумении Таисии и ее ближайшая сотрудница, игумения Леушинского монастыря Агния, решила исполнить волю приснопамятного пастыря о. Иоанна и напечатала их в журнале «Кронштадтский Пастырь» и в виде отдельного оттиска без изменений настоящей книгой.

В автобиографии м. игумении Таисии мы видим замечательное действие Промысла Божия, сказавшееся во всей жизни почившей матушки. Можно сказать несомненно, что она с самых малых лет была избрана Промыслом Божиим на служение Святой Церкви и ближним своим в звании монашеском.

И это звание пришлось проходить ей при несении весьма тяжелого креста.

Сама она свидетельствует, что крест ненависти и зависти к ней людской был спутником всей ее долголетней жизни.

«Этот крест, — пишет матушка Таисия в своей автобиографии, — станет над моей могилой, и не только, как обычное украшение христианских могил, но и как символ *крестоношения* погребенной под ним, как неотъемлемая принадлежность моя».

Но этот крест и привел ее на высоту христианского подвига, соделал ее истинной исполнительницей заповеди Спасителя: *Кто хочет по Мне ити, да отвержется себе и возьмет крест свой и по Мне грядет.*

Читая внимательно эту автобиографию игумении Таисии, мы можем ясно видеть всю величину и всю тяжесть иноческого подвига, а также видеть и все настоящее значение иноческой жизни, как для желающих найти верный путь спасения, так и для мирян, которые, находясь в суете житейской, могут видеть из этой автобиографии, что *Бог в тяжестех Его знает есть*, что если и посвятившие себя иноческому служению могут истинно познавать Бога только чрез посылаемые им испытания, то, тем более, увлеченные житейской суетой, могут изникнуть из этой греховной сети только чрез путь того крестоношения, какой Господь, желающий всем спастись и в разум истины прийти, посылает и каждому мирянину, лишь бы он слышал этот зов и следовал ему.

Чтение автобиографии матушки и может отрезвить многих мирян.

Протопресвитер *Александр Дернов*.

* * *

Не по своей воле или желанию начинаю я эту запись, и не только не по желанию, но даже и против него; единственно, из послушания людям, гораздо более меня опытным, без сравнения умнейшим меня и более духовным, людям известным не только мне, убогой, но и всем ревнующим о жизни богоугодной и о спасении своих душ.

В 1885 году привел меня Господь побывать во святом граде Киеве, в Печерской Лавре, где в то время еще подвизался всеми почитаемый за святость жизни игумен Агапит, в схиме Феодосий, который и состоял духовником для лиц освященных (т.е. носящих какой-либо священный сан). Я была уже игуменией и имела счастье и на исповеди быть у него, и вообще открыть ему всю свою душу, чего мне давно хотелось и чего я искала, и о чем и Бога просила.

Между прочим, тяготила меня, или вернее сказать, заботила меня мысль о том, что я, будучи такая немощная и грешная, сподоблялась в жизни своей многих чудных явлений и видений, я даже иногда начинала опасаться, «не прелесть ли это вражия», каковой я по своей неопытности не понимаю, и меня страшно пугала мысль быть прельщенной и обманутой. Найдя в лице старца схиигумена Феодосия такого, не только духовно опытного, но и прозорливого духовника, как все признавали его, как и я сама испытала собственным опытом, я, конечно, открыла ему всю свою душу, и все тайны, все мысли ее повергла на его мудрое усмотрение и просила разрешить мое недоумение относительно и моих видений. И вот великий муж, не нашед в них

ничего опасного, признал их, напротив, за знамение милости ко мне Божией, и, кроме того, советовал, настоятельно советовал мне их все записывать, как для своей собственной памяти, так, по словам его, и на пользу другим. Эти-то последние слова и страшили меня, хотя я и дала ему обещание тотчас же заняться записью, но решительно не дерзала приняться за это дело.

«Кто я,— думаю и теперь,— что чрез меня, грешную, будет Господь пользоваться других, более меня достойных пред Ним?» Да если еще, прочитав или услышав об этих чудных явлениях мне, кто-нибудь помыслит обо мне что-либо доброе, как бы об удостоившейся этого по заслугам, то какому ответу подлежу я пред Господом, сказавшим: *«Горе вам, егда добре о вас рекут человецы»*, и еще: *«Горе вам, славу друг от друга приемлющим»*. О, не подумайте, родные мои, не подумайте, Богом умоляю вас всех, кому случится прочесть эти записки, что во мне могло бы быть что-либо заслуживающее милости Божией; верно слово, что «благодать и сила Божия в немощех совершается, там именно, где умножается грех», ибо «хотением не хочет Бог смерти грешника, но еже обратится ему». Так и меня-то, грешную, Господь искал во всю мою жизнь, и вел меня десницей Своей, как мать ведет дитя свое неразумное, чтобы оно, неумеющее ходить по скользким путям, не упало и не повредило себя. Но, опять повторяю, я не решалась предать это гласности, т.е. написать, и даже несмотря на приказание глубоко чтимого и любимого мной старца схиигумена Феодосия, коего память для меня священна, как память праведника,— не знаю, решилась ли бы я на это, если бы не последовало и еще одного к сему побуждения. Однажды довелось мне более часа беседовать наедине с общеизвестным нашим светильником о. Иоанном Сергиевым-Кронштадтским. Когда разговорились мы с ним о вышеприведенном предмете, то и он стал доказывать мне необходимость предать записи все бывшие мне явления и виде-

ния, каковые, по мнению его, имеют много назидательного смысла и значения, не только единолично для меня самой, но и для других. Итак, исполняя послушание к великим духовным мужам, я приступила к делу с благословения и с помощью Господа. Бога же призываю в свидетели, что пишу чистую правду и истину, настолько справедливо, насколько доступно передать словом необъяснимое, высшее, и насколько сохранила во мне все сие моя память, без всякой прикрасы, в полной истине.

I

Родители мои происходили из древних дворянских фамилий: отец — потомственный дворянин, помещик Новгородской губернии, Боровичского уезда, В. В. Солопов, а мать, москвичка, из рода Пушкиных. Родителей своих она или не помнила, или же, что вернее было бы предположить, намеренно их не вспоминала и на случайные мои о них вопросы, вызывавшие всегда в ней чувство грусти, — уклонялась отвечать.

Еще малюткой осталась она на руках старца-дедушки Осипа Алек. В., которого и называла отцом, да и действительно он заменял для нее самого нежного и заботливого отца. Он был человек вдовый, одинокий и уже преклонных лет, но, несмотря на то, всецело отдался заботам о ней, которые разделяла с ним и незабвенная ее няня, также уже немолодая женщина. Когда ей наступил восьмой год от роду, дедушка поместил ее в пансион (в то время лучший в Москве) г-жи Дельсаль на полное содержание, куда переселилась и няня ее, для отдельного ухода за его любимицей, что, вероятно, в то время было принято в пансионах, или же допускалось в виде исключения. В 1834 году на 14-м году от рождения мать моя окончила свое воспитание в пансионе (получила аттестат, хранящийся у меня и по сей час) и вместе с няней вернулась под мирный и гостепри-

имный покров дедушки. Но недолго суждено было отдохнуть и понежиться бедняжке-сиротке под этим кровом. От колыбели до могилы не улыбнулось ей счастье никогда. Дедушка был человек мнительный, каждая малейшая болезнь, по мнению его, угрожала ему смертью, а сиротке его — совершенным одиночеством, и он стал спешить устроить ее судьбу — выдать замуж.

Между тем, в Москве ему почему-то не хотелось ее пристроить, и он переселился с ней и со всем своим имуществом в Петербург. Вот слова самой матери моей о ее судьбе.

«Едва минуло мне пятнадцать лет, я помню, что еще любила играть в куклы, а мне стали все твердить о женихах и о свадьбе. Конечно, о том, нравится ли мне кто-нибудь или нет, меня не спрашивали, да и сама я не понимала этого, да и вовсе не понимала условий супружеской жизни. Я воображала в лице мужа второго отца и покровителя, что внушал мне и дедушка, щедро наградивший меня приданым и деньгами. А главное, драгоценнейшее мое приданое — это моя неразлучная, бесценная няня, мой единственный друг и свидетель всего.

Когда столкнулась я с супружеской жизнью лицом к лицу, то стала смотреть на мужа скорее с ужасом и страхом, чем с любовью, которой и раньше не имела. Сознание бесповоротности своего положения томило меня до отчаяния, я плакала, скорбела безутешно. Строгая и суровая свекровь, жившая с нами, преследовала и журила меня за мои слезы, и мужу моему старалась объяснить их моей нелюбовью к нему.

Когда случалось мне видеться со старичком — отцом моим, пред которым я надеялась излить свою тоску и облегчить ее, то и тут видела следы жалоб на меня и слышала одни сухие старческие назидания и морали. Через год родился у меня ребенок; ожидая его появления на свет Божий, я утешалась надеждой, что он-то, этот младенец, будет мне Ангелом-уте-

шителем, что ему я отдам всю свою жизнь, посвятив ее его вскармлению и воспитанию, но и этого не судил мне даровать Господь: через несколько часов после рождения, лишь успели просветить новорожденного таинством Крещения — он скончался от чрезмерной слабости. Года через два повторилось то же, и я уже отчаялась иметь утешение в детях, утешение единственное, по мнению моему, доступное мне. Много и горячо молилась я о том, чтобы Господь не лишал меня этого утешения, дал бы мне хотя одно дитя, оставив его в живых; особенно же молилась я об этом Матери Божией, нарочно ходила пешком в Ее храмы к Ее чудотворным иконам, пред которыми изливала свои слезные мольбы, дерзновенно напоминая Ей, что Она Сама была Матерью и может сочувствовать скорби земных матерей, хотя и грешных и недостойных Ее помощи, но в Ней имеющих единую, твердую надежду.

И не посрамила меня Владычица, Надежда ненадежных. Она даровала мне дитя — дочь, которую я из чувства благодарности к Ней назвала Ее именем — Мария».

Этой счастливой Марией, Богом дарованной на утешение скорбной матери дочерью, и была я, недостойная, пишущая эти строки; я, в монашеском образе принявшая имя Таисии, а ныне уже имеющая около шестидесяти лет от рождения, игуменья пустынного монастыря. Как прежде моего рождения, так и после него, родители мои детей не имели в живых; когда уже мне было восемь лет, родился сын Николай, проживший лишь десять месяцев и скончавшийся, оставив великую скорбь по себе не только родителям, но и мне.

Когда мать моя молилась о даровании и сохранении ей ребенка, она давала многие священные обеты, как сама мне об этом говорила. Один из таких обетов состоял в том, чтобы всеми силами стараться вложить в сердце ребенка страх

Божий, любовь к Богу и ближним и, вообще, сделать его хорошим христианином. Она со всем усердием старалась выполнить этот обет, внушая мне еще с самого младенческого возраста все правила христианской жизни, стараясь применять их во всем и ко всему, что каким-либо путем было доступно моим детским понятиям.

До сего времени помню я некоторые примеры такого христианского воспитания, вполне достигшего цели (применительно детскому развитию). Я уже упоминала, что до восьмилетнего возраста была единственным ребенком родителей. Отец постоянно находился на службе, нередко ездил «в плавание». Бабушка давно уже не жила с нами, а мы с матерью моей были всегда неразлучны, до времени поступления моего в институт. Бывало, накупит мне много гостинцев, отдаст их в полное мое распоряжение; и прежде всего прикажет разложить все на столе, чтобы видеть все, затем как будто мимоходом подойдет ко мне и, указывая на стол, говорит: «Ах, Машенька, какая же ты богатая, счастливая, сколько у тебя разных лакомств, а у других-то, несчастных, бедненьких и хлеба нет, — ты бы поделилась с ними, они бы за тебя Богу помолились, а молитва нищенки доходна до Бога». Расположенная такими словами матери, я отдавала матери все до последнего, и она, не отказываясь, принимала все, говоря, что знает много бедненьких, которые часто ее просят, и что отдаст им все это. Через несколько же времени она подзывала меня и снова давала мне часть гостинцев или тех же самых, или подобных им, говоря: «Вот, ты была добрая девочка, поделилась с нищенками, — вот тебе Господь и еще послал, благодари Его, когда будешь молиться, и всегда, всегда делись, Он будет любить тебя». Сделала она мне копилку, куда часто опускали мне, в мою собственность, серебряные пяточки; когда я с няней шла гулять, она всегда напоминала мне: «А что ж

ты не взяла твоих денег, — вдруг попадутся нищенки, и подать нечего, они заплачут, и Господь рассердится на тебя, что ты их не утешила». Так приучала она меня с малолетства к великой добродетели — милосердия и любви к бедным. Не смею сказать, чтобы семя это принесло обильный плод, но во славу имени Божия скажу, что случилось мне впоследствии и платье (из-под верхней одежды) снимать для отдачи его нищим, не только что делиться с ними последним. Умела она расположить и приучать меня и к молитве. Так, например: были мы с ней на рождественских праздниках где-то «на елке»; я была еще очень мала, не старше трехлетнего возраста. Очень понравилось мне это детское утешение, и, возвратившись домой, я стала просить маму устроить и у нас такую же елку. Что же она мне ответила?

— «Это, Машенька, делается только для тех детей, которые хорошо и усердно Богу молятся; молись хорошенько, и у тебя будет «елка»; Господь милостивый, Он всегда исполняет наши просьбы, наши молитвы». То же повторяла она мне и при других случаях и понуждала молиться.

Часто также беседовала она со мной, рассказывала события из Священной Истории, особенно о страдании Спасителя. Бывало, сидит она у окна своей комнаты и шьет, работает что-нибудь, а я приючусь на скамеечке у ее колен и слушаю ее рассказы. Мне было не более четырех лет, когда я могла уже читать без складов, хотя и не быстро, и знала с рассказов матери всю священную историю земной жизни Спасителя (кроме Его учения и притчей); обладая хорошей памятью, не изменяющей мне и по настоящее время, я легко запоминала слышанное.

II

Таким образом, под непосредственным покровом и наблюдением благочестивой моей матери, протекало мое детство.

Когда мне было восемь лет, родился, как я упоминала, брат Николай; мать не могла уже тогда так исключительно посвящать мне все свое время, а между тем меня надо было готовить к поступлению в институт, и мне наняли гувернантку. Когда мне минуло 10 лет, меня определили в Павловский институт, что на Знаменской улице, куда свез меня мой отец, и, благословив, оставил в неутешных слезах и рыданиях. Мысль о том, что на несколько лет разлучили меня с родительским кровом, с их ласками, особенно с нежно любящей матерью, которая и сама до такой степени была расстроена этой разлукой, что не имела силы проводить меня в институт, мысль об этом и воспоминание всего невозвратно прошедшего дорогого сердцу не давали мне покоя, не давали возможности заняться учением. Только благодаря богатым способностям, с большим усилием, я, прочитав хотя однажды заданные уроки, отвечала их и следовала за классом. Скоро, впрочем, мой детский организм надломился, сделались у меня сильнейшие головные боли, затем воспаление глаз, и я совсем ослепла. Меня, конечно, положили в лазарет; новая беда удвоила скорби, я продолжала плакать и плакать безутешно. От этого ли, или от оплошности институтского врача (не глазного) воспаление глаз перешло в бельма, и я окончательно, совершенно лишилась зрения. Мне стали сводить эти бельма ляписом, что причиняло ужасную боль и страдания, а облегчения — ни малейшего.

Родителям моим, которые с наступлением весны уехали в свою усадьбу, не давали почему-то знать о случившемся со мной, а сама я писать не могла, таким образом, страдания мои и слепота моя продолжались до осени. Наконец, приехал в лазарет глазной доктор Денеске и, нашед лечение неправильным, посоветовал поместить меня в глазную лечебницу, находившуюся под его ведением, куда меня и поместили.

Впрочем, и там я не получала ни малейшего облегчения; не могу сказать, сколько именно времени я там пробыла, но о помещении моем туда дали знать родителям, которые тотчас же приехали за мной и, исхлопотав, чтобы вакансия моя не была замещена другой воспитанницей, взяли меня из института впредь до излечения и увезли в усадьбу. Привезли меня туда совершенно слепую, не видевшую даже солнечных лучей. Способ лечения, которым пользовали меня врачи, был совершенно оставлен, и меня стали лечить более домашними средствами, а главное — воздухом, меня почти не пускали в комнаты в течение целого дня. По той ли, или иной причине, но не прошло и трех месяцев, как я снова увидела свет, и зрение мое стало быстро возвращаться, так что в конце того же года меня уже привезли обратно в институт; я видела довольно хорошо и могла заниматься, хотя, впрочем, при свете ламп очень затруднялась читать и писать, что и осталось моим достоянием на всю мою дальнейшую жизнь, и по сие время я страдаю слабостью зрения и с трудом занимаюсь при огне. Но, слава Богу и за такое излечение, не многим слепцам достается на долю совершенное прозрение. В институте потекла моя жизнь своим обычным порядком, с той только разницей, что лишившись навсегда хорошего зрения, я, при малейшем напряжении его при занятиях, рисковала повредить и последнее, да мне и запрещали заниматься по вечерам.

Впрочем, это не препятствовало мне не только следовать вместе с классом, но и быть одной из самых лучших учениц; Господь, лишив меня внешнего зрения, в то же время просвещал более мои понятия и память, которые значительно развились от того, что в силу необходимости делались они основанием всего дела моего обучения, а не книги и тетради.

В то время между нашими учителями существовал следующий способ преподавания: спросив заданный урок у некоторых из воспитанниц, учитель приступал к разъяснению следующего урока, и это разъяснение давал гораздо более подробно, чем в книге; тем, кто более и точнее усвоит и передаст эти подробности, прибавлялись баллы. Не надеясь на помощь книги, я напрягала все свое внимание на рассказ учителя и, благодаря памяти, усваивала его почти слово в слово, затем по просьбе подруг повторяла им неоднократно одно и то же, а через это твердо и неизменно заучивала все пройденное. Меня прозвали «слепой мудрец», хотя я и не была ни слепа, ни мудра, но эта кличка сопровождала меня во все время моего воспитания. Да и не одна эта, и много кличек или названий присвоилось мне, как обычно во всех казенных заведениях дают их друг другу; меня называли еще «монахиней», «игуменьей», а когда кому в чем-либо не угожу, то и «святошей», но все эти наименования сводились к одной характеристике моего религиозного настроения. Это настроение было как бы прирожденным, но оно вошло в более полную силу, когда мне было 12 лет, после следующего обстоятельства.

Когда я была еще в шестом (то есть во втором от младшего) классе, у нас в институте случилась эпидемия — корь, уложившая в постели почти все младшие и часть старших классов воспитанниц. Это было весной, наступал Великий пост. Не только все огромное помещение лазарета было переполнено больными, но и более просторные дортуары были заняты ими. Между прочим, корь посетила и меня, и в такой сильной степени, что меня положили в лазарет в «трудное» отделение, где и днем не поднимались густозеленые шторы на окнах, где в целодневном полумраке мы лежали, действительно, полуживые от осложнившейся болезни. Наступала

Страстная седмица, а за ней и св. Пасха; мы сознавали великость и торжественность дней, и это сознание увеличивало тоску. Но вот наступила и Светлая ночь на Великий Христов День. Не помню ничего особенного о том, как я с вечера заснула, только среди ночи я была разбужена слышанием какого-то шороха. Проснувшись, стала прислушиваться, — слышу шорох какой-то необычайный, как будто шелест крыльев птицы. Открываю глаза и в удивлении вижу совершенно ясно и очевидно, среди полнейшей ночной темноты, какое-то существо солнцобразно светлое, крылатое, летающее под потолком и повторяющее человеческим голосом слова: «Христос воскрес! Христос воскрес!» Какого вида было это существо, я не могу сказать ничего, кроме виденной как бы детской головки между двумя крылышками. О, какую неземную радость почувствовала и моя детская душа! Точно влилось в нее что-то дотоле ей неведомое, сладкое, овладевшее ею всецело. Я села на своей постельке и так внимала летающему, точно бы он именно ко мне прилетел, меня и приветствовал. Долго ли продолжалось это мое наслаждение, я не могу сказать, но оно было прервано подошедшей ко мне дежурной горничной, которая, заметив, что я сижу, поспешила уложить меня. Я снова уснула под впечатлением сладкого чувства, но с ним же опять и пробудилась наутро, причем мне вспомнилось все виденное и слышанное, а чувство, поселившееся при этом в душу, уже никогда не оставляло ее и словно положило в ней начало чему-то новому и таинственному, что и для меня самой до времени не было ясно.

Затем я выздоровела, вышла из лазарета в классы, по-прежнему начала заниматься, и жизнь среди сверстниц пошла своим обычным порядком, но в глубине моего сердца словно таилась какая-то затепливавшаяся искорка, как бы выжидая лишь

случая разгореться ярче и свободнее. Если признать это дело Божиим, то можно сказать, что Господь и не замедлил разжечь эту искру в более сильный огонь Его Божественной любви.

III

По существовавшему в институте правилу, все воспитанницы обязательно говели в течение Великого поста на первой, четвертой и седьмой неделях. Но так как в этот год, как я упоминала, почти половина воспитанниц были больны корью, продолжавшейся всю весну, то нам и не пришлось говеть Великим постом, а вместо того все мы, по распоряжению начальства, исполнили этот долг Успенским постом, в конце каникул, продолжавшихся всегда до 16-го августа. Вместе со всеми говела и я, и 15-го августа причастилась Св. Тайн. После причащения, в ночь на 16-е августа, я видела чудное видение, положившее решительный и окончательный переворот на всю мою жизнь, или, иначе сказать, составившее и указавшее мне мое призвание.

Виделось мне, что я стою в поле, покрытом зеленой травой, стою на коленях и молюсь Богу. Передо мной, то есть с той стороны, куда я была обращена лицом, поле окаймлялось лесом, а позади не более саженой пяти от меня, протекала длинная речка, на противоположном берегу которой был расположен большой, шумный город, который я принимала за Петербург, так как никакого другого города в то время еще не видала. Оттуда доносился до меня шум и стук, и крик, и говор. И как я была довольна, что ушла оттуда на этот берег, в это тихое, уединенное поле! Вдруг я стала подыматься от земли, ни мало не изменяя своего положения, то есть колени мои не разгибались, ноги не опускались, хотя и теряли под собой опору, то есть землю, я летела все выше и выше, хотя и не

безостановочно, ибо среди полета кверху иногда и спускалась немного, но потом снова поднималась и, наконец, высоко-высоко поднявшись, остановилась. Тут я увидела себя в каком-то ином мире, как мне думалось, — на небе, неизъяснимо сладкое чувство наполнило мою душу; там было так светло, чудно хорошо, что я не берусь и не в силах описать.

Почти совсем передо мной я видела бесчисленное множество людей, стоявших длинными рядами, в несколько рядов, так что и конца не было этим рядам; все они были по форме своих тел одинаковы, только не таковы были эти тела, как наши земные, грубые, а тонкие, прозрачные, как бы из облака вылитые, и настолько прозрачны, что сквозь каждого можно было видеть стоявшего позади него, и так до конца этих бесчисленных рядов; только цвет, или оттенок этих сквозных тел был не одинаков, подобно тому, как и облака бывают на небе не одинакового цвета: иные желтоватее, иные краснее, голубее, белее, серее и так далее, только все сквозны, легки и прозрачны. Поднявшись неведомой мне силой, я остановилась прямо против первого ряда с правого его конца, в том же своем молитвенном положении на коленях, и во все время видения не шевельнулась с места, но и с этого видела многое, многое.

Видя эти чудные тела, я подумала о себе: не такова ли стала и я. Но нет, взглянув на себя, я увидела, что ничуть не изменила не только вида, но даже и положения, что все в том же своем институтском платье продолжаю стоять на коленях в воздушном пространстве. В момент, когда я взглянула на себя, я невольно взглянула вниз и там увидела землю далеко-далеко внизу; она казалась мне какой-то весьма малой выпуклостью, черневшейся в пустом пространстве; оттуда донеслись до моего слуха какие-то неопределенные звуки смешанных рыданий, крика, смеха и тому подобные, и хотя это длилось не более секунды,

пока я лишь взглянула на себя, — но мне стало жутко воспоминание о земле, и я поспешила к чудному небесному зрелищу. Что касается виденных мной Святых, то относительно того (как меня однажды спросили), в одежде ли они были или без нее, — я определить не берусь. Тогда мне и на мысль не пришло этого вопроса, теперь я не помню, скажу только, что если и в одежде, то значит, и одежда была сквозная, потому что я хорошо видела самые задние ряды сквозь передние, и там все было сквозно, прозрачно, светло, ни малейшей дебелисти, вещественности.

Все эти Святые стояли, как бы в два лика, то есть их длинные ряды, тянувшиеся в бесконечную даль, как мне казалось, делились на два лика, так что между этими двумя ликами образовывалось пустое светлое пространство, наподобие какого-то коридора. Я, как упоминала, была поставлена против самого первого ряда левого лика с правой его руки, где начинался этот первый ряд, так что очень ясно было видно и другой правый от меня лик, и пустое это между ними пространство.

Все они пели, то попеременно, то все вместе, и когда они начинали петь, то изо рта каждого из них выдыхалась как бы струя какого-то аромата, наподобие того, как выходит фимиам из камины, но эта струя не останавливалась и не разливалась тут же, а поднималась выше, так что лишь в воздухе клубился и разливался этот аромат и своей густотой не застилал Святых. Что именно они пели, я не знаю, только так хорошо, что я не могу и высказать.

Стоя у самого начала этих двух ликов и образуемого между ними пространства пустого, я беспрепятственно смотрела вдаль, где мне казалось все светлее и светлее (не знаю, так ли это было в действительности, или мне только казалось), я думала, что, вероятно, там самый Престол Бога, Источника Света, и что Он там и находится. В эту минуту, как только я это помыслила,

вижу, что ко мне приближается один из Святых и отвечает прямо на мою мысль: «Ты хочешь видеть Господа, — для этого не требуется идти никуда, ни в то дальнее пространство, Господь здесь везде, Он всегда с нами, и подле тебя!» Пока он говорил мне это, я подумала: «Кто это такой и почему и как узнал он мои мысли, не вполне ясные и для меня самой?» И это не укрылось от него, окончив свою речь о присутствии Бога, он продолжал, как бы в ответ на мою последнюю мысль: «Я — Евангелист Матфей!» Не успел он окончить эти слова, как я увидела подле себя по правую сторону обращенного ко мне лицом Спасителя нашего Иисуса Христа. Страшно мне начать изображать подобие Его Божественного вида, знаю, что ничто, никакое слово, не может выразить сего, и боюсь, чтобы немощное слово не умалило Великого. Не только описать, но вспомнить не могу без особенного чувства умиления, без трепета, этого Божественного, Величественного вида Сладчайшего Господа. Десятки лет миновали со дня видения, но оно живо и неизгладимо хранится в душе моей! Величественно чудно стоял Он передо мной. Весь стан Его или, иначе сказать, все тело было как бы из солнца или, сказать наоборот, — само солнце в форме человеческого тела; сзади, через левое плечо, перекидывалась пурпуровая мантия, или пелена, наподобие того, как изображается на иконах, только мантия эта не была вещественная, из какой-либо ткани (там не было ничего вещественного), как бы из пурпуровой, огненной зари, наподобие того, как мы видим иногда вечернюю огненную зарю на горизонте. Спускаясь наперед через левое плечо, она покрывала собой левую половину груди, весь стан и, наискось спускаясь по ножкам, покрывала их немного ниже колен и взвивалась по правую сторону, как бы колеблемая воздухом в воздушном пространстве, среди коего и стоял Господь. Правая рука, как и правая сторона груди были не покрыты мантией

и оставались, как и ножки, солнцеобразными; стопы, совершенно как человеческие, носили следы язв, ясно видимых посреди солнцеобразной стопы; рука правая была опущена, и на ней виднелась такая же язва, левая рука была поднята, и, как мне помнится, Он ею опирался или держал большой деревянный крест, который единственный был из земного вещества, то есть из дерева. Глава Его, то есть лик, окаймлялся волосами, спускавшимися на плечи, но то были как бы лучи или нечто подобное, устремленное книзу и колеблемое тихим, легким веянием воздуха; черты Его лика я не разглядела, а возможно ли было это при таком сильном ослепительном сиянии? Помню только очи Его, чудно-голубые, точно в них-то и отражалось все небо голубое, они так милостиво, с такой любовью устремлены были на меня. Увидев, приблизительно в таком образе, Господа, я вся как-то исчезла в избытке сладостного восторга и благоговения, о каком-либо чувстве страха и речи быть не могло, любовь, бесконечная святая любовь объяла все мое существо. Не знаю, долго ли я наслаждалась этим пресладким лицезрением Господа, но, наконец, бросилась Ему в ноги и простерла руки, чтобы обнять их и облобызать Его стопы. Сделала я это как бы вне себя, от избытка охватившего меня чувства. Но Он не допустил меня прикоснуться к Его стопам, Он простер Свою десницу, бывшую опущенной, и, дотронувшись до темени моей головы, сказал: *«Еще не время»*. От этого чудного прикосновения, от этого пресладкого гласа я совершенно исчезла, и, если бы в ту же минуту не пробудилась, думаю, — душа моя не осталась бы во мне. Я пробудилась, но я не сознавала вполне, что со мной, следы всего виденного и слышанного были еще так живы, голова еще как бы продолжала ощущать Божественное прикосновение и пресладкие слова все еще слышались мне. Вся подушка, на которой я лежала, и вся грудь моя были смочены слезами, которые я

проливалась, вероятно, во время видения, во сне. Я села на своей койке и мало-помалу начала сознавать, что была не в здешнем мире и вот вернулась опять, проснувшись. О, как не хотелось мне сознать эту действительность, то есть что я проснулась снова для обыденной земной жизни. Не выпуская ни на мгновение из памяти виденного, я даже силилась снова заснуть, воображая, что этим продолжу видение, но все напрасно, и, наконец, со знала, что видение кончено, и, как сказано мне, теперь «еще не время» переселиться в ту блаженную страну. Я раскрыла глаза, полные слез; как мрачно показалось мне все, как грустно, но я утешалась хотя тем, что все воспитанницы спали, кругом полная тишина, и я могу дать себе свободу и плакать и молиться, никто не видал меня.

Долго, долго я всецело отдавалась своим воспоминаниям и размышлениям, с благоговением я дотрагивалась до темени головы моей, и оно казалось мне священным, с радостью вспоминала я слова Спасителя «еще не время», толкуя их себе так, что, значит, будет же время, когда я снова узрю Его, и уже не возбранит Он мне припасть к Его Божественным стопам и облобызать их. Наконец, боясь быть замеченной, я потихоньку встала, оделась, умылась и, вышед осторожно из дортуара, направилась к дверям церкви (на паперть), которые были двойные; первые — глухие деревянные, и они никогда не запирались на замок, а вторые — со стеклами, всегда бывшие запертыми. Пространство между обеими этими дверями было довольно широкое, на этот раз оно оказалось мне спасительным убежищем, я знала, что тут меня никто не увидит. Страх, при полном ночном мраке среди бесконечных институтских коридоров и лестниц, именно тут на паперти оканчивавшихся со всех четырех этажей, мне не приходил на мысль. Я радовалась своему убежищу, и незаметно скоро пролетело для меня все остальное

время ночи. Но вот раздался звонок воспитанницам вставать, зная, что не замедлит через час последовать и второй звонок на молитву, я содрогнулась при мысли о том, как выйду, что скажу, как вступлю в обычную колею жизни и т. под. И не ошиблась. Лишь только со вторым звонком я вышла из своего убежища, меня окружили воспитанницы, осаждавшие меня вопросами: «Где была, что с тобой, отчего ты так заплакана?» и проч. Мое молчание возбуждало еще большее любопытство. Не только дети-подруги, но и классная дама, дежурная подошла ко мне с теми же вопросами. Вместо ответа я только разрыдалась. Открыть свою тайну я не решилась бы ни за что никому, кроме нашего священника, а солгать что-нибудь я не могла, да и вообще говорить не чувствовала в себе силы. Наконец понемножку меня оставили в покое. Когда после молитвы и после чая все вошли в класс, я попросила свою классную даму разрешения остаться в коридоре и дожидаться батюшку, чтобы сказать ему несколько слов. Она мне это позволила. Когда я рассказала ему все, он поцеловал меня в голову, и сказал: «Это твое призвание, храни эту тайну, а Господь Сам довершит Свое дело». После этого мне стало как-то легче вращаться с людьми; но переворот уже был сделан на всю жизнь. Я чувствовала какую-то тесноту души, сознавала, что не могу жить общепринятым образом жизни; ко всему чувствовала равнодушие, ничто, ничто не привлекало меня, напротив, все больше и больше отталкивало. Только мои недюжинные способности давали мне возможность хорошо заниматься и даже быть всегда одной из первых. Любовь же моя и внимание все сосредоточилось на Евангелии. Случалось иногда принимать участие и в увеселениях, хотя, конечно, я не находила в них никакого удовольствия, но, не смея уклоняться от общего дела, невольно принимала в них участие; при этом я настолько конфузилась и стеснялась даже самой

себя, вспоминая виденную мной красоту небесную и ощущая истинную сладость духовных наслаждений, что делалась совершенно неспособной ни к танцам, ни к спектаклям, ни к чему подобному, путалась, терялась иногда даже до слез, что, конечно, возбуждало всеобщее удивление и даже смех. В старейших классах эти увеселения принимали более широкий размер, но тут Сам Господь как бы стал охранять и отстранять меня: как только начинались танцы, у меня начиналось головокружение, я бледнела и шаталась, и меня приходилось выводить. Наконец меня освободили от участия в подобных вечерах, и даже от уроков танцев. Оставшись одна в классной комнате, в то время как все уйдут танцевать на вечер в приемный зал, я занималась чтением духовных книг, или молилась за моих подруг, которые, как мне казалось, небезгрешны были в их стремлении и любви к увеселениям. Сама не понимаю, откуда у меня рождались такие мысли и взгляды, никто мне этого не внушал, напротив: меня осуждали за это и называли «странный», нигде я ничего подобного не читала, и воспитывали меня вполне светски, а не духовно. Мне же все хотелось молиться, поститься, а когда случалось мне по молодости или по чужим наветам отвлечься от этих моих правил, то я пугалась этого, как большого греха и удваивала пост и молитву. Понятно, что настоящего поста, то есть, постной пищи я не могла держаться, но понимая, что пост, то есть воздержание, состоит более в количестве, чем в качестве пищи, я лишала себя более сытных и более сладких блюд, отдавая их тем из воспитанниц своего курса, которые, не имея родственников, были лишены возможности получать от них гостинцы и лакомства.

Случалось, что мне и самой хотелось иногда съесть что-либо такое; в виду этого, чтобы не дать себе возможности нарушить предпринятый порядок, отступить от правил поста,

а с другой стороны, чтобы не лишиться себя случая оказать любовь бедной сироте, я нарочно заранее давала им обещание того или другого кушанья или лакомства, прося напомнить мне тогда, когда оно будет предложено в столовой.

Хотя все это я всегда старалась мотивировать словом, что я «этого — не люблю», или «это мне вредно», но иногда как-то разгадывали мое намерение. наших горничных девушек стали учить грамоте, Священной Истории и молитвам; им задавали уроки, которые иногда твердили они по вечерам, уложивши воспитанниц в постели. Многие из нас помогали девушкам (только потихоньку от классных дам, оберегавших наши силы). Подметив лень или бестолковость со стороны одной горничной, моей ученицы, я стала оставлять для нее свои сухари и булки от вечернего чая, что и отдавала ей, когда она хорошо училась, и это, действительно, имело влияние. В течение Великого поста нам давали постный стол лишь на тех неделях, когда говели воспитанницы, то есть на первой, четвертой и седьмой, на остальных неделях — только в среды и пятницы. Иные воспитанницы старшего отделения (в числе их и я) брали на себя решимость соблюдать пост в течение всех семи недель, причем приходилось нам довольствоваться иногда в течение нескольких дней, вместо обеда и ужина, одним черным хлебом, причем требовалось сохранять это в строгой тайне от надзирательниц, почему мы всегда брали себе свои порции и делали вид, что вкушаем, а затем спроваживали тарелку по назначению; впрочем классные дамы французского дежурства, будучи все русские, православные, хотя и знали наши проделки, но не доказывали этого, только иногда шутливым образом погрозят пальцем, или покачают головой «мнимой постнице»; зато уж немецкого дежурства дамы-немки немилосердно преследовали нас, иногда даже со-

вершенно пресекая наш пост, заставляли тут же при себе есть мясную пищу, не разбирая ни дней, ни недели. В такой борьбе и в таких лишениях мы (то есть некоторые, весьма немногие воспитанницы) проводили весь пост; впрочем, добровольно никогда не уступая никаким препятствиям, ни соблазнам.

По мере приближения нашего к старшему, выпускному курсу, как-то более ощущалась самостоятельность, и словно бы ширились права нашей свободы, хотя, в сущности, мы до последней минуты своего пребывания в институте оставались всесторонне подвластными заключенницами его, обязанными строго хранить все его правила и предписания. Но в старшем курсе мы уже более предоставлялись самим себе, классные дамы наблюдали за нами как бы издали, лишь для порядка, а в более мелкие детали нашей жизни даже и не входили, но мы и не злоупотребляли этим, будучи всецело заняты приготовлением к последним, так называемым, «публичным экзаменам», на другой же день после которых мы готовились вступить на порог жизни самостоятельной, светской, свободной. Кто готовился сряду же по окончании курса взять на себя нелегкий труд преподавательницы и прямо с беззаботной скамьи института путем многозаботливой обязанности снискивать средства к жизни; иные, как дети более достаточных родителей, мечтали о предстоящих им удовольствиях «на свободе светской веселой жизни». Какие же мысли и чувства наполняли мою душу по поводу предстоящего мне оставления института? — Ни те, ни другие из вышеприведенных. Я знала, что мне не придется своими трудами добывать средства к существованию, знала, что выхожу под кров родительского дома, в теплые объятия материнской нежности и любви отца. Но этого-то последнего я и страшилась, ясно понимая, что оно-то и сделается для меня преградой в моих стремлениях осуществить мысль, которую

я лелеяла в течение шести лет, получив на то указание свыше. Вернусь несколько назад: я уже говорила, что, обладая блистательными способностями и завидной памятью (дававшей мне возможность не только усваивать учимое, но и отвечать безошибочно длинные стихотворения, прочитав их раза два-три, причем требовалось от меня лишь особенно напряженное внимание), — я училась легко и всегда была если не первая, то вторая ученица в классе; скажу при этом, что давалось мне это счастье, думаю, исключительно благодаря способностям, хотя, правда и то, что я занималась всегда прилежно и усердно; но так как все мое внимание сосредоточивалось главным образом на всем духовном и религиозном, то не знаю, успевала ли бы я в науках так же быстро, если бы изучение их стоило мне труда и усидчивости. Я всегда имела много свободного времени, которое, согласно своему произволу, могла посвящать чтению духовных книг, самовниманию, размышлению о тех духовных событиях, которые более меня интересовали, даже нередко удовлетворяла чувству потребности излагать свои собственные впечатления на бумаге, и никто меня за это не преследовал, не запрещал, так как и классные дамы наши вполне были уверены, что уроки свои я приготовила, а лишнее время отдавалось всецело нашему собственному произволу.

IV

По мере моего возраста и развития возрастали и развивались и мои религиозные потребности; меня уже не стало довольствовать одно чтение духовных книг, тем более, что у меня их было очень немного, и в моем затворе я не имела возможности достать их более, или именно тех, каких мне хотелось. Самая любимая моя и самая дорогая книга была святое Евангелие; в его словах я чувствовала не только сла-

дость и утешение души, но и какую-то потребность ежеминутного неразлучного с ним пребывания, а так как это было неудобно и невозможно, то я принялась изучать его наизусть.

Благодаря моей памяти, это мне было вовсе не трудно, и я скоро заучила на память славянским текстом слово в слово все евангельские события и учения у тех Евангелистов, где они излагались подробнее. Когда наступил наш последний выпускной экзамен по Закону Божию, то сама начальница института баронесса Фредерике представила меня прибывшему для экзамена тогдашнему ректору Духовной Академии, впоследствии митрополиту Московскому и Киевскому, Преосвященному Иоанникию, объявив ему, что я знаю все Евангелие наизусть. Владыку, кажется, заинтересовало это, и он предложил мне прочесть ему наизусть из Евангелия святого Иоанна Богослова главы четырнадцатую, пятнадцатую и далее, прощальную беседу Спасителя с учениками. Я стала читать на память, начав с места: *«Ведий Иисус, яко вся предаде Ему Отец в руке, и яко от Бога изыде и к Богу грядет...»* (Ин.13, 3). Владыка, а с ним и все прочие присутствовавшие на экзамене слушали с большим вниманием, и никто не перебил меня ни одним вопросом. Когда я закончила, остановившись на последних словах четырнадцатой главы *«восстаните, идем отсюда»*, Владыка Иоанниковый спросил меня: «Скажите, что за причина, побудившая вас изучать Евангелие наизусть? Это для институтки — явление необычайное». Я отвечала ему по чистой совести всю правду, ибо иного не сумела сказать: «Каждое слово Евангелия так приятно и отрадно для души, что мне хотелось его всегда иметь при себе, а так как с книгой не всегда удобно быть, то я вздумала заучить все, тогда всегда оно будет при мне в моей памяти». Все присутствовавшие переглянулись между собой, но никто мне не возразил ничего, а Владыка продолжал: «Не можете ли

вы сказать, что предложил Спаситель юноше, искавшему получить жизнь вечную?» Я ответила кратко. Он предложил мне рассказать словами Евангелия всю эту историю, что я и исполнила, начав со слов Евангелиста Матфея «*се един некий рече Ему*» из девятнадцатой главы, и далее до стиха двадцать седьмого (Мф. 19, 16–27). Когда я окончила, Владыка вдруг сказал, как бы сбивая меня: «Вот вы говорите, что для достижения совершенства Господь предложил не иное что, как «раздать имение нищим»; хорошо, я роздал нищим, вы раздадите нищим, вот они сделают так же, — что же выйдет? Нищие нашими именьями обогатятся, а мы обнищаем; какое же тут совершенство?» Я объяснила, насколько умела, что эта заповедь не обязательна для всех, а только для предпринимающих совершенный, т.е. отличный от мирского, образ жизни, — нищета ради Христа и т.д... Владыка остался доволен ответами и уже более не спрашивал.

По окончании молитвы, он подозвал меня к себе, благословив меня, он положил мне на голову свою правую руку и, держа ее, произнес: «Бог не оставит Своего дела! — *Ихже избра*, тех и оправдает и направит на путь спасения вечного». Затем он милостиво расспрашивал меня о том, есть ли у меня родители, какой образ жизни думаю я предпринять, и с отеческой любовью простился со мной. На следующий день он прислал мне чрез нашего священника книгу с его надписью: эта книга по сие время у меня сохраняется. Вслед за экзаменом по Закону Божию, с некоторыми промежутками для приготовления, производились и другие по всем предметам, пройденным нами во весь семилетний курс образования.

Между тем еще за месяц до назначенного для выпуска нашего дня, нам уже объявили его, с приказанием просить родителей и родственников озаботиться приготовить нам форменные для дня акта и выхода из института белые платья, и другие

необходимые для нас платья, и т.п.; для этого наши маменьки и родственницы могли являться к нам не только в обычные приемные часы, а когда для кого удобнее и нужнее, и притом с портнихами и мастерицами. По мере приближения этого рокового времени, времени для нас всех, конечно, и торжественного, и вожделенного, трепетало мое сердце при мысли о том, какое-то сочувствие со стороны родителей встретит мое настроение души и найдет ли желаемый исход мое стремление в монастырь. Во время пребывания моего в институте, родители мои переселились совсем в свою усадьбу, находившуюся в Боровичском уезде, Новгородской губернии. Отец, совершав многократно кругосветные плавания, простудился и получил чахотку, которая в его года приняла длительный характер и постепенно изнуряла его силы и здоровье. Он вышел в отставку в чине полковника (капитана 1-го ранга) с большим окладом пенсии и эмеритурой. За два или за три года до моего выхода из института переехал к ним же в усадьбу и старик — воспитатель моей матери, и сначала жил с ними в усадьбе, а затем, как привыкший жить в большом свете, иметь большой круг знакомых, соскучился в деревне, в тишине, и купил себе дом в г. Боровичах, куда и поселился на жительство. Но не долго пришлось ему пожить в своем новом жилище: удрученный годами (не болезнями, ибо он был весьма крепкого сложения и завидного здоровья), он скончался на 107-м году своей долголетней жизни, пролежав перед этим в постели лишь два дня; перед кончиной он, в совершенно здоровом рассудке и твердой памяти, сделал духовное завещание на меня, отказав мне именно все свое движимое и недвижимое имущество и этот недавно купленный дом, и деньги, наличные и находившиеся в долгах по вексялям у разных лиц. Так как я была еще в институте, то и назначил он надо мной опекушкой мою мать. Обо всем этом писала мне

моя мать своевременно, поздравляя с нескудным наследством, которое составляло исключительно мою собственность, не так, как родовые имения отца, подлежавшие разделу между всеми тремя детьми его, кроме меня, еще братом и сестрой.

Прибыв к назначенному времени в Петербург для взятия меня из института, она с искренней радостью уже словесно подробно сообщала мне все это, надеясь привести в восторг мое еще почти детское воображение, как с малолетства заключенной и безвыходно пробывшей семь лет в стенах училища, не видевшей никакой роскоши и не имевшей еще никакой собственности, кроме книг да тетрадей. Каково же было ее удивление, когда она не нашла не только никакого восхищения, но, напротив, встретила равнодушие и даже, как казалось ей, неудовольствие.

Она спросила меня, неужели меня не радует ее рассказ о получении такого наследства. Я старалась успокоить ее и отвечала, что очень радует, и я очень благодарна покойному дедушке. Но сердце материнское чутко; она, видимо, опечалилась и, как будто недовольная мной, невольно высказала: «Что с тобой, Машенька? Ты точно всех нас разлюбила, или уже ты такая серьезная стала?» Мне стало жаль ее, я бросилась в ее объятия, крепко ласкалась, уверяя, что все так же горячо люблю ее, более всех, обе мы плакали слезами родственной любви, но слезы эти были совсем различных характеров, и мы не поняли друг друга. Прощаясь со мной, она обещалась на следующий раз приехать с портнихой для приготовления форменного выпускного платья и других необходимых вещей. Расставаясь с ней, я глубоко задумалась, да и было о чем задуматься. Я видела и чувствовала, что дорогая и добрейшая мать моя, для которой в младенчестве и отрочестве моем я служила единственным утешением (как о том упоминала выше), все годы нашей с ней разлуки лелеяла в сердце своем одну от-

радную надежду, что, по окончании мной курса, я снова буду для нее единственным утешением, единственным другом, поддержкой ее уже слабевших сил и здоровья, буду счастьем и гордостью ее и т. под., и что вдруг все эти сладкие мечты ее должны были разбиться, и кем же? Мной, ее безгранично любимой дочерью! Меня страшила мысль, что этим я сокращу ее жизнь, раньше времени оставлю малолетних птенцов, брата и сестру моих, без матери сиротами и т. под. Мне делалось жаль ее и всю семью нашу, я становилась в собственных глазах своих преступницей, я мучилась, терзалась душой, плакала, молилась, почти всю ту ночь провела без сна в подобных размышлениях, даже предлагала себе сдаться в своем намерении уйти в монастырь, но как только допускала эту последнюю мысль, так ощущала невыносимую скорбь и тяжесть и не могла не сознать, что это сделать недоступно для меня, что жизнь в свете будет для меня хуже и тягостнее заключения в темницу; в ужасном томлении и борьбе, я прижимала к себе иконочку Спасителя, образ Которого, виденный мной на небе, живо вставал передо мной, и, трепещущими губами целуя иконочку, невольно вслух говорила: «Неужели я изменю Тебе, о Сладчайший Иисусе? Неужели любовь к матери, любовь земная победит любовь к Тебе? О, да не будет сего, никогда, никогда!» Такие и подобные сему ощущения и мысли томили меня и не давали мне покоя; между тем приближался день приезда матери, и я с трепетом ожидала его, словно бы на суд позвали меня. Я знала, что и мать моя не без тревоги, не без скорби оставила меня, и я понимала, что одна только откровенная беседа наша с матерью могла помочь нашему взаимному недоразумению. Но как сказать матери всю правду, — открыть ей мое видение, или мое призвание я не могла решиться: точно уста мои невольно запечатлевались о нем на-

всегда и пред всеми; иначе чем объясню ей мое стремление, какое основание покажу ему? А не видя ему основания, она сочтет это за мечту экзальтированного воображения, увлечение юности и т. под. и, разумеется, найдет нужным всеми силами противостоять ему, в надежде рано или поздно разбить эти мечты. Такое предположение мое оказалось чуть ли не пророчески верно, как покажут последствия.

Тем не менее, я решила, с помощью Божией, понемногу готовить мать мою к предстоявшей ей со мной разлуке, как можно ласковее, постепенно знакомя ее с моим настроением души. На следующий же раз, когда она приехала ко мне, согласно своему намерению с портнихой, во время меряния и совещаний о платьях, я как бы к слову решила ей сказать: «Мамочка, не делайте мне много платьев, думаю, они мне не понадобятся». — «Что это за странность, — возразила она, — в чем же ты будешь ходить?» — «Мамочка дорогая, — отвечала я, — не гневайтесь на меня; но я не могу не чувствовать, что не в состоянии буду жить в свете, я стремлюсь давно, и всей душой стремлюсь в монастырь». Мать моя, пораженная такой неожиданной новостью, как будто совсем смешалась, однако, овладев собой, строго произнесла: «Ну, мы это еще увидим, а пока, если ты не хочешь раньше времени меня уложить в гроб, не повторяй мне никогда этих слов». Я молча заплакала, не о том, что услышала такой отпор надежде на осуществление моих стремлений и идей, нет, — я была убеждена, что так или иначе, но исполнит их Господь, а заплакала невольно, предвидя, какой скорби и борьбы станет это дело, и хватит ли сил моих выдержать эту борьбу.

Когда представился мне удобный случай, я сообщила обо всем этом нашему духовному отцу и просила его совета и молитв. Он дал мне такой совет, какой вполне соответствовал моим собственным убеждениям: «Надо дать время; Господь

Своего дела не оставит, — выразился он словами Владыки, — Он склонит и сердце матери дать свое благословение, а пока, помимо этого благословения, нельзя уйти в монастырь, иначе и Богу это не будет угодно». На основании такого решения, я уже более не упоминала матери о своем намерении, чтобы не раздражать ее, она и сама не начинала со мной об этом разговора, и как будто бы успокоилась, думая, что я, как послушная дочь, переменяла свои мысли и намерения. Впрочем, она не забывала своей задачи — всеми мерами прекратить мои направления и завлечь удовольствиями жизни светской.

Акт и выпуск наш из института состоялся 15-го декабря (тогда выпуски производились к Рождеству).

V

Приехав за мной из усадьбы, мать моя оставила там больного мужа своего, моего отца, двух малолетних детей — брата моего десяти лет и сестру семи лет, но, несмотря на это, она пробыла для меня со мной в Петербурге весь конец декабря и начало января месяца, чтобы, пользуясь святочным временем, познакомить меня со всякого рода увеселениями и рассеянностью столичной жизни, чем надеялась прельстить меня и отвлечь от религиозного настроения, которое не переставала приписывать юношескому увлечению среди институтского затвора. Она вывозила меня всюду, куда лишь было можно и доступно: в театры, в оперы, на вечера и домашние спектакли, и, как мне казалось, более даже, чем бы позволяли наши средства, старалась, по ее мнению, доставлять мне удовольствия, чем, в сущности, только томила меня, вовсе не достигая своей цели. Говорю по чистой совести, что все эти столичные увеселения мне не только не нравились, но, напротив, казались мне пустыми, не могущими занять, заинтересовать внимание серьезного человека; а ког-

да мне их навязывали насильно и часто, то мне они опротивели, надоедали, и душа моя сильно томилась. Впрочем, несмотря на такое свое недружелюбное ко всему светскому отношение, я не доверяла себе: чувство, всаженное во мне Господом чрез бывшее (описанное) видение, было для меня слишком высоко, свято и дорого; изменить ему, забвением его, хотя на минуту, казалось мне грехом неблагодарности к такому великому дарованию Божию; я хранила его в сердце, как святыню, и видя, как подруги и сверстницы мои увлекаются миром и его приманками, я боялась за себя, справедливо сознавая, что и я такая же слабая и немощная душой девушка, и что призвание мое есть не что иное, как дело Божие, а никак не мое, то есть не степень моего преуспеяния; я хорошо помнила все обстоятельства, предшествовавшие тому чудному откровению, а потому не могла не видеть, что я сама лично тут не при чем. Поэтому, когда в силу обстоятельств поселялось в душе моей сравнительное равнодушие, или, иначе сказать, когда я видела безвыходность своего положения, и приходилось мириться с ним, я боялась, чтобы примирение не приняло настоящего значения и не поселило бы в душе моей охлаждения к религиозным стремлениям.

Получая частые письма из усадьбы о том, что, хотя там и все благополучно, но с величайшим нетерпением ожидают туда нас с матерью, я все же питала надежду, что скоро уедем из шумной столицы в мирную, уединенную деревню, где уже, конечно, образ жизни будет мне более по сердцу. Но, увы! — и в усадьбе ничто не приласкало моего сердца, ничто не ответило его стремлениям. Первое, что омрачило мои надежды, — это отсутствие храма Божия, который отстоял от нашей усадьбы на 4 версты; служба в этой церкви, как и во всех селах, совершалась лишь в воскресные и праздничные дни, но и какая была это служба в сравнении с той, к которой

в столице привыкла я с детства, а потому и не допускала мысли, чтобы Богослужение могло совершаться иначе. Однако, в силу обстоятельств, я бы довольствовалась и этим, но, как я сказала, служба совершалась лишь в праздники, а и в праздники не всегда оказывалась возможность ехать в село.

Жизнь в деревне вообще оказалась вовсе не такой замкнутой, какой я ее себе рисовала: приехала я зимой, когда все помещики (которыми так небеден Боровичский уезд) были в своих усадьбах; все они жили как-то дружно, общительно, собираясь вместе то в одной, то в другой усадьбе, гостили друг у друга подолгу, к чему и самые помещения их усадеб были приспособлены, заключая в нижнем этаже, кроме комнат хозяев, несколько гостиных и зал, а в верхних этажах — отдельные номера для гостей, где они и располагались, как дома, гостя подолгу.

Как «новинка» появилась я в этом помещичьем мире: все взоры были обращены на меня, и я, «молоденькая институтка», сделалась предметом суждений и толков. Мать моя и тут сочла своей обязанностью «вывозить» меня, знакомить с соседними помещиками, у которых и мне приходилось гостить по несколько дней, особенно, когда в длинные зимние вечера устраивались в той или другой усадьбе спектакли (домашние), в которых приходилось участвовать и мне. От природы одаренная всякими способностями и ловкостью, я недурно исполняла достававшиеся мне роли, а это послужило причиной того, что почти ни один спектакль не устраивался без моего соучастия.

Таким образом прошел весь январь, февраль и Великий пост, — мы в церковь почти не ездили, кроме редких праздников; но что за богомолье это было! Заранее уговорившись, поедем (напившись, конечно, чаю) целой кавалькадой, экипажей пять, шесть и более, с разговорами, шутками, даже сме-

хом, приедем чуть не к концу Литургии, выступим вперед на левый клирос, да еще не сразу молиться примемся, а начнем с поправления своих нарядов да причесок, затем установимся на подносимые нам коврики, — глядишь, — и службы конец. Нечего делать, стыдно выходить, только что прибывши: закажем молебен, — да и обратно потянемся прежним способом, лишь еще с большими шутками и остротами насчет сельских певчих или кого бы то ни было.

Дома нас встречал сытный лакомый завтрак, за ним опять праздное препровождение времени, и таким образом день за днем провела я первые три месяца по прибытии в усадьбу. Каким-то общим вихрем носило меня в этой пустоте, но тяжело было душе моей, особенно потому тяжело, что не могла я предвидеть никакого исхода из своего положения: на то была воля матери моей, полагавшей все счастье, как свое, так и мое, приблизительно в таком роде жизни, да, кажется, она надеялась скоро отдать меня замуж. Она часто заговаривала со мной то о том, то о другом из молодых людей, посещавших наш дом, или с которыми мне приходилось встречаться в других усадьбах. Когда я решалась говорить ей прямо, что хотя и все они хороши, но замуж я никогда ни за кого не пойду, то между нами возникала неприятность, иногда и очень крупная: я горько плакала, скорбела и едва не приходила в отчаяние. Мне даже иногда приходила мысль — бежать куда-нибудь в лес, бывший так недалеко от нашей усадьбы; но куда, когда я никуда дороги не знала, и каким способом устроить было это; — приходилось отказаться и от этой отрадной мысли.

Но вот наступило лето; праздная зимой жизнь помещиков сменилась заботливой, деятельной. Под предлогом ознакомления с сельским хозяйством, я стала проситься у матери ходить на полевые работы для наблюдения за ними; это мне было по-

зволено. Взяв в карман Св. Евангелие или какую-либо священную книгу, я уходила в поле или лес, где в уединении читала или молилась в тайне сердца. Пламенная, слезна была моя молитва о том, чтобы Господь скорее извел меня из мирской суеты, которая все более и более становилась для меня несносна.

Более частые часы уединения и молитвы подкрепили мой упавший дух и надежду на милосердие Божие, а вместе и сообщили решимость твердо стоять в своем намерении и не поддаваться никаким соблазнам. Опасаясь, что с наступлением осени снова начнутся прежние гостбища и праздности, я придумала следующий оборот своей жизни, для чего, впрочем, требовалась и маленькая хитрость, к которой я и прибегла.

VI

Я упоминала о том, что дед мой, скончавшийся незадолго до моего выхода из института, отказал мне по духовному завещанию все свое имущество, деньги и небольшой двухэтажный дом в г. Боровичах. Так как родители мои имели большое хозяйство в усадьбе, то жить в городе было для них неудобно, и домик мой отдавался в наем жильцам. Желая избавиться от праздной и суетной зимой деревенской жизни, я надумала просить родителей отпустить меня жить на зиму в город в свой домик, где бы и брат мой Костя, которому было уже одиннадцать лет, живучи со мной, мог удобнее заниматься уроками, подготовительно для поступления в корпус; заниматься с ним бралась я сама, а предметами военных наук могли бы заниматься учителя городских училищ.

Такое предложение одобрили родители; самим им оставить усадьбу на всю зиму было нельзя, почему они приискали в городе двух сестер из бедной дворянской фамилии Москвиных и поселили их бесплатно в моем домике, дав

им в нем две комнаты в одной со мной квартире, в верхнем этаже; а внизу поселили прислугу нашу, состоявшую из целого семейства: мужа, бывшего нашим дворником, жены-кухарки и дочери их, девицы лет 15-ти, сделавшейся моей горничной. В конце августа нас с братом Костей переселили в город. Я считала себя вполне счастливой, чувствуя свободу проводить время по своему желанию и стремлению. Город Боровичи, как и всякий уездный городок, не велик, и всякая новость быстро облетает его. Скоро стало известно, что наследница умершего генерала Василевского окончила уже курс воспитания в институте и поселилась здесь, в своем доме, вместе с братом, которого и приготавливает сама для поступления в корпус. В то время в Боровичах еще не было никакого общественного женского училища. В силу этого некоторые из граждан стали просить меня давать уроки их детям. Если бы я склонилась на все такие просьбы, то у меня тотчас же образовался бы целый пансион; но, помня конечную цель всех своих стремлений, я боялась связать себя чем бы то ни было, и приняла лишь четырех: одного мальчика, как бы в товарищи брату, и трех девочек-дворянок.

Жившие со мной престарелые девицы Москвины смотрели на меня с полным уважением, и, не умею определить, в качестве кого жили они у меня; я представляла им, кроме квартиры с отоплением, и прислугу, и стол, и все, кроме чая, который, по разности наших занятий, и неудобно нам было иметь общий.

Вот какой образ жизни вела я, поселившись в городе. Ежедневно ходила к утрени в монастырь св. правед. Иакова Боровичского, находившийся на окраине нашего небольшого городка; иногда стояла там и ранние обедни, смотря по времени. Вернувшись из церкви, будила брата, приготавлила чай, и вместе с братом пили «по домашнему», что мне очень нравилось: я воображала себя хозяйкой.

С 9 часов начинались занятия наши, продолжавшиеся до 12, после чего ученики мои расходились по домам, а мы с братом и с Москвиными садились завтракать все вместе; затем в 2 часа брат уходил к своему учителю, а я всецело принадлежала себе, — читала, работала, иногда с одной из жилищек выходила погулять, но в гости ни к кому никогда не ходила, хотя и многие о сем просили неоднократно. В 4 часа возвращался Костя, и опять всей семьей садились обедать; вечером иногда помогала я брату репетировать уроки, но каждый вечер заканчивался у нас общим семейным кружком за одной лампой с работами и книгами. Москвины были девицы благочестивые и тоже любили читать священные книги, которые и были у нас господствующими. Под праздники ходили ко всенощной; и таким образом мирно, христиански текла наша жизнь. Денежные мои финансы все оставались на руках моей матери, которая весьма часто посещала нас; только зарабатываемые мной уроками деньги составляли мою собственность, которую я ей не отдавала и расходовала по своему желанию. Даже процент с капитала, оставленного мне дедушкой, мне она не давала, вероятно, употребляя его на наше же содержание, да мне и в голову никогда не приходило спрашивать о сем. А с меня-то, наоборот, спрашивали отчет даже в моих трудовых деньгах, которые, впрочем, у меня никогда не были подолгу. Сама же мать моя с раннего моего возраста приучала меня быть доброй и отзывчивой к бедным, помогать им хотя бы и последним, и это привилось мне, как оказалось, с первых же дней моей самостоятельной жизни; но тут она стала меня за это преследовать и запрещать давать милостыню, с каковой целью и не давала мне в руки денег. Но потребность души находила для себя исход: нередко, видя в лохмотьях и рубище нищих детей и женщин, я приводила их к себе в дом и отдавала свои платья и белье; хотя и старалась все это сделать потихоньку от всех, но как-то все узнавалось, и мне доставалось от матери и выговоров, и укоров. Никогда не забыть

мне один, между прочим, следующий случай. Прибыл к нам в Боровичи с Афона иеромонах-сборщик с ковчегом с частицами св. мощей (от. Арсений); собирая по городу, по домам, пришел он и ко мне; я не имела дать ему денег, кроме разве безделицы, и, не долго думая, вынула из ушей серьги и, подавая их ему, просила принять на украшение какой-либо иконы или куда пригодятся. Этого не видал никто, и я предполагала, что так дело и кончилось. Вдруг, когда приехала мать моя из усадьбы, совершенно неожиданно спросила меня, указывая на мои уши: «А где же, Машенька, твои серьги?» Я ответила, что сняла их и убрала в комод, она приказала их показать ей; я стала рыться в комод, ища, чего там не было, и, наконец, сказала, что не помню, куда убрала. Тогда она строго обличила меня во лжи и заключила страшными словами: «А чтобы ты не вздумала и еще раз проделать такую же жертву, пойдешь сейчас же, разыщи монаха и возьми свои серьги, сказав, что я этого требую, — ты еще молода и неразумна, не умеешь распоряжаться своими вещами». Можно себе представить, каково было для меня это приказание; но делать было нечего: я пошла по улицам города, впрочем, не только не разыскивая монаха, но даже избегая встречи людей, ибо у меня беспрестанно навертывались слезы, и при первом слове я готова была разрыдаться. Я обошла много улиц и дошла до берега реки (Мсты), где, к величайшему моему облегчению, увидела на пароме переправляющимся на ту сторону искомого монаха с его спутником; догадавшись, что они переправляются за город, я уже веселее пошла домой и объявила матери, что монахи уехали из города. Конечно, мать моя, думаю, и не вернула бы отданных серег, как бы ценны они ни были, она только хотела пострадать меня на будущее время. Такие и подобные тому случаи сильно огорчали меня, в этом я видела стеснение моей свободы в моих религиозно-нравственных стремлениях, и справедливо могла думать, что не освобожусь от такого стеснения до того времени, пока не уйду в монастырь.

VII

Единственным моим утешителем и советником являлся в то время игумен помянутого монастыря, о. Вениамин; весьма духовный и опытный старец, он поддерживал меня, и я нередко его посещала, но и то с большой осторожностью, чтобы и этого единственного утешения не лишили меня, запретив посещать его. Я открывала пред ним свою душу, рассказала о бывшем мне в отрочестве видении и о его последствиях — овладевшем всей моей душой стремлении к жизни духовной, иноческой, что при настоящем настроении моей матери казалось мне немислимым в исполнении. Богомудрый старец-игумен утешал меня, подкреплял во мне веру и надежду в промысление о мне Самого призвавшего меня Господа, Который силен устроить все по Своей святой воле. По своему глубокому смирению он называл себя «недостаточным» и советовал мне познакомиться и побеседовать с настоятелем Иверского-Богородицкого монастыря, архимандритом Лаврентием, которого ожидали в Боровичи по причине пребывания тут в то время иконы Иверской Богоматери. Приезжая в Боровичи, о. Лаврентий всегда останавливался в монастыре у о. игумена Вениамина, который, вероятно, и сообщил ему обо мне, так что, когда, по обыкновению своему, пришла я к утрени в монастырь, то меня пригласили в келью настоятеля, где я увидела обоих старцев, с отеческой любовью принявших меня и долго беседовавших со мной о духовных и высоких предметах. Эта первая моя (по времени) беседа в обществе двух столь духовных лиц глубоко запечатлелась в моей памяти, не только по своему содержанию, но и по скоро сбывшемуся предсказанию о. Лаврентия о том, что я буду скоро отпущена матерью в монастырь, и притом так, как и сама не ожидаю. Несбыточными казались мне эти слова,

но я просила его, и он обещал мне молиться, чтобы они скорее осуществились.

Ноября 21-го, в день храмового праздника Боровичского собора, в городе бывает ярмарка. Накануне приехала моя мать; в это время я была одна дома, почему и встретила ее я одна; были сумерки; мы с ней вдвоем, напившись чаю, уселись рядом на диван, в ожидании благовеста ко всеобщей, огня не зажигали, а буквально «сумерничали», разговаривая кое о чем. Сердце мое сжималось тоской, слезы катились сами собой, но, благодаря темноте, я не имела нужды скрывать их от матери. Впрочем, голос мой в ответах на обращения ко мне матери выдал меня, и она спросила: «Ты, кажется, плачешь, что с тобой, что это значит?» И она с материнской лаской прижала мою голову к своей груди и поцеловала меня. Тут я уже не выдержала и зарыдала. Она продолжала спрашивать и на молчание мое возразила: «Ты не любишь меня, не доверяешь мне, не хочешь признаться, о чем плачешь». Тогда, призвав в помощь Царицу Небесную, я начала: «Оттого-то и не решаюсь говорить Вам, мамочка, что люблю Вас и не хочу Вас оскорблять, особенно ради такого праздника, как завтра».

— Что же такое? — спросила она, — ты меня пугаешь, скажи скорей.

— Мамочка, завтра нашу Владычицу, Деву Марию повели и поселили в храме Божиим, а меня, бедную, ты не пускаешь идти по Ее стопам, не даешь служить Ей и Сыну Ее, к чему единственно я имею стремление, как ты и сама знаешь. Из послушания тебе, моя родная, я делаю все, что могу, все, чего ты желаешь от меня, но делаю все поневоле, мне трудно жить в мире, я томлюсь, как птичка в клетке, томлюсь, и Бог один видит, как страдает душа моя.

— Машенька,— возразила мать,— перестань, не говори больше.

— Не стану, мама, я и этого не сказала бы, если бы ты не принудила меня; я молчу и буду молча томиться, пока, наконец, не сведут меня в гроб эти постоянные томления духа, эта жизнь вечно вопреки своих стремлений, эта непосильная борьба.

Говоря это, я задыхалась от давивших меня слез.

После краткого молчания матушка ответила с той же нежностью, но с оттенком легкого упрека: «Я нисколько не желаю раньше времени, как ты выражаешься, сводить тебя в гроб; если тебе тяжело и так невыносимо жить с матерью, если не жаль оставить больного отца, малолетних детей — твоих брата и сестру, наконец, если и родной кров стал для тебя не дорог и не родной,— Бог с тобой, иди в монастырь, но помни и обдумай хорошенько — там ни матери родной, ни семьи родной, ни родного крова не найдешь никогда».

Ободренная ее ласковым тоном и хотя случайно высказанным согласием, я решилась ответить ей обстоятельно: «Все это — сущая правда, не раз мной обдуманная: ни матери родной, такой, как ты, моя золотая, дорогая мама, я никогда не найду, ни крова родного... Но что же мне с собой сделать? Какая-то более сильная, непреодолимая сила влечет меня в неизвестную для меня, и знаю, что нелегкую жизнь. Скорее же еще могла бы остановить меня мысль о больном отце и о детках наших, но и тут рассудим беспристрастно: болезнь отца хроническая, я не облегчу ее, тем более, что он охотно благословляет меня и ни мало не удерживает; брату моему я плохая учительница, ему предстоит корпус; сестра еще и мала для настоящего ученья, да и ее возьмут в институт на казенный счет; скажи же, мамочка, чего же я лишаю семью нашу, удаляясь от нее в монастырь?»

О, пусти меня, родная, я буду вечная ваша молитвенница». Она снова обняла меня и, целуя, сказала: «Если такова воля Божия — Христос с тобой». Я не верила своим ушам; я спешила закончить разговор и уйти в другую комнату, опасаясь, что она, раскаявшись в своих словах, откажется от них, и снова пуще прежнего станет удерживать меня. С каким, однако, облегченным сердцем молилась я за всю ночь в этот вечер; видела, что и матушка со слезами молилась все время. Вернувшись домой, также и на следующий день, мы не возвращались к этому роковому для обеих нас разговору; с тем она и в усадьбу поехала. Я же поспешила в монастырь к своему отцу игумену Вениамину сообщить ему весь наш разговор, а также и мое опасение.

Опытный старец и на этот раз успокоил меня: «Что же вам до отказа ее (от своих слов), если бы он и последовал? Раз благословение дано, и держитесь за него, вспомните благословение Исааком Иакова, вызванное обманом, но имевшее всю силу святости и нерушимости, несмотря на все последующие просьбы изменить его; а вы не обманом, а слезами вымолили его, и оно почило на вас, и никто не может снять его, даже она сама, если бы вздумала. Конечно, она попытается еще удерживать вас, готовьтесь ко всяким искушениям, но будьте тверды и спокойны; да и что раньше времени тревожиться, — Бог начал, Бог и кончит». При этом, однако, он советовал мне не откладывать своего намерения и подумывать о том, каким путем удобнее разорвать все свои связи с миром, так как на этом пути, особенно когда он уже близится к цели, враг всеми мерами старается поставлять серьезные преграды, чтобы помешать делу.

Так как я давала уроки приходящим ко мне детям, то мне надлежало дожидаться того времени, когда они пред Рождественскими праздниками окончат занятия, и тогда я намеревалась поехать в Валдайский Иверский монастырь к

о. архим. Лаврентию, принять его благословение и указание, как повести дела (ибо меня связывало еще доставшееся мне после деда имение), а также и поговорить и отдохнуть душой, укрепившись Св. Тайнами. Родители мои ничего не знали и не подозревали даже о моем тайном приготовлении, иначе, конечно, матушка поспешила бы прервать все мои планы.

Наконец, наступила с таким нетерпением ожидаемая мной последняя неделя перед Рождеством, учениц своих я освободила от занятий, уволив их до 8 января, брату предложила уехать в усадьбу, сказав, что и сама на днях буду туда. Я и действительно имела намерение заехать туда путем в Ивер, так как усадьба наша была на пути, с полверсты лишь от большой дороги, да и уехать без ведома родителей я не могла и думать. Жутко, однако, мне было при мысли о том, как взглянет на это моя мать; не догадалась бы она о моем уже положенном решении покинуть их, к чему такого быстрого поворота она, как видно, и не ожидала.

Милосердный Господь и тут устроил все без особенных тревог и неприятностей. Кажется, 22 декабря я выехала из своего домика, еще в первый раз в жизни одна, и не на своих лошадях, а на нанятых ямщицких, в неуклюжих дорожных санях. Хотя мне предстояло проехать таким образом более семидесяти верст (от Боровичей до Валдая), но и тени страха или опасения не было в моей душе, напротив, она невыразимо радовалась, точно я ехала в Царство Небесное, к Самому Богу, а не в земную обитель.

Всецело углубленная в свои сладкие мечты, я не заметила, как мы проехали около восемнадцати верст, и вдали на горе влево от дороги виднелась уже наша усадьба; сердце мое забилося, радость сменилась смущением. Каково же было мое удивление и даже испуг, когда я встретила ли-

цом к лицу ехавшую в Боровичи на паре своих, знакомых мне лошадок, мою матушку. Обе мы уставили глаза друг на друга. «Ты словно испугалась меня, Машенька?» — сказала она мне, когда, поравнявшись на дороге, мы остановили лошадей. Она была совершенно уверена, что я ехала в усадьбу, почему сказала только: «Что же ты меня не дождалась, вот я еду за тобой да за кой-какими покупками к празднику». Тут я объяснила ей, что хотела только заехать в усадьбу, а еду далее в Ивер, чтобы там отдохнуть душой и помолиться в праздничное свободное для меня время. Краска выступила на лице ее, она, казалось, хотела многое сказать, но удержалась присутствием кучера и ямщика, и только с горечью сказала: «Ну, как знаешь». Мы расстались; я не ожидала такой скорой, хотя и не совсем приятной развязки, но, признаюсь, я ожидала худшего, боялась даже совершенной остановки моего преднамеренного путешествия, потом мне вздохнулось легко, когда, проводив глазами удалявшуюся матушку, я и сама тронулась далее в путь. Слезы наполнили глаза мои. «О чем я плачу?» — спрашивала я сама себя. О, как разнообразны причины этих слез. Еду, как беглянка, из собственного своего дома, из родной семьи; но и была ли когда-либо для меня «семья родная»? Была и есть она, но только по родству, а не по духу. Я только еще еду куда-то искать родной по духу семьи, но найду ли ее, и где найду, и когда еще найду? Еду, как преступница, от всех укрываясь, скрываясь, точно и самой себе страшась дать отчет в своих действиях; но какое преступление я совершила? Разве только, что самовольно уезжаю, стремлюсь безотчетно, точно влекомая какой-то могучей силой, сама не знаю, куда, к чему-то высшему, идеальному, совершеннейшему. Но достигну ли сего? Вот родная мать от меня отвернулась, и я само-

волью вырываюсь из ее объятий, между тем, как сейчас же готова броситься к ногам святого отца и в объятиях любвеобильной души его надеюсь найти покой своей душе, утружденной борьбой с ненавистным мне миром. Боже мой! Вот только год, как я вышла из института, только год, один год, а сколько я настрадалась, сколько должна была двоиться душой, чтобы «работать двум господам»; если и Сам Господь сказал, что это невозможно иначе, как «возлюбивши одного, другого возненавидеть», то чего же хотели от меня и за что меня обвиняют? И я всецело отдалась своим мыслям и воспоминаниям, но скорбь моя была не раздирающая сердце, а тихая, и даже благоговейная; совесть моя сказывала мне мою неповинность, а вера в мое призвание свыше внушала надежду на близкий исход.

VIII

Около вечерни приехали мы в Иверский монастырь и остановились в «дворянской гостинице». Я сряду же пошла к вечерне, после которой меня пригласил к себе о. архимандрит Лаврентий; но на этот раз мне не удалось побеседовать с ним по душе, так как я была не одна; я сказала ему только, что приехала к нему нарочно, чтобы переговорить с ним «о своем деле», а также, чтобы поговорить и отдохнуть душой. На следующий день о. Лаврентий снова пригласил меня и долго отечески беседовал со мной наедине. Я сообщила ему о случившемся накануне 21 ноября и о том, что о. игумен Вениамин советовал мне пользоваться этим как настоящим благословением, и, не теряя времени, заботиться о достижении преднамеренной цели, и что вот для этого именно я и приехала к нему в Ивер, чтобы спросить его указаний, как поступать и в какой именно монастырь направляться, так как я и понятия не имею о монастырях, нигде

не бывала и ничего не знаю. Я предполагала, что он укажет мне только еще открывавшуюся тогда под его ведением неподалеку от Иверского монастыря общину, на родине Святителя Тихона, в селе Короцке, но он прямо отклонил эту мысль, сказав, что тут еще ничего нет, кроме неурядиц, а что нужно устроиться в настоящий старинный монастырь. «Впрочем,— заключил он,— теперь пока *ни о чем же пецываете, Господь близ*, Он Сам укажет и место, и путь к Нему, а теперь лишь помолитесь, поговорите, приобщитесь Св. Тайн, а там еще побеседуем и увидим». В сочельник Рождества служил сам о. архимандрит, от рук которого я приобщилась Св. Тайн. Напрасно было бы и говорить о том, какое дивное, умиленное чувство произвела на меня вся эта монастырская служба; на обоих клиросах пели не певчие, как я привыкла видеть, а седовласые почтенные старцы, многие из них — с наперсными золотыми крестами, часто оба клироса сходились на середине церкви и пели вместе; пение их какого-то особенного (киевского) напева, такое и торжественное, и умиленное; само Богослужение совершалось «соборно», а отец архимандрит Лаврентий служил со слезами благоговения, что после он сам объяснил мне, сказав: «Не помню, чтобы когда мне случилось литургисать без слез». Вот что еще произвело на меня сильное впечатление и осталось навсегда живо в моей памяти. После такой же торжественной соборной всенощной на самый праздник Рождества Христова, с крестами и хоругвями, двинулся крестным ходом весь собор священнослужителей в белых облачениях в сопровождении остальных монашествующих и всего народа из зимней церкви, где была служба, к летнему большому собору; двигались медленно, стройно, предшествуемые пением кондака: «Дева, днесь Пресущественнаго рождает...» при оглушительном трезвоне всех колоколов; когда вошли в собор, все остановились пред чу-

дотворной иконой Богоматери, ярко освещенной множеством лампад; сперва одни священнослужители с зажженными свечами в руках пропели этот же кондак, затем повторили его дважды певчие, и стали прикладываться к иконе Пречистой Девы, словно приветствуя Ее с всемирной чрез Нее радостью. Это я видела тогда в первый, но и в последний раз в жизни, больше нигде и никогда не приходилось мне сего видеть. На третий день праздника, 27 декабря, когда я после Литургии пришла к о. Лаврентию, он между прочим сказал мне: «Ну что, овца (овцой он назвал меня с первых дней нашего знакомства, ибо имел обычай давать прозвище своим близким духовным детям; так были у него: «хворушка» — княгиня С. Эримова, «цыпа» — В. Теглева, «Чернец», «Малюхонный» и пр.), — Ну что, овца, помолилась, поговела, обновилась, отдохнула душой, теперь можно и далее простираться, — вот тебе, кажется, и местечко Господь указывает!» В той же гостинице, где остановилась я, была одна послушница из Осташевского Знаменского монастыря; как оказалось, она совсем оставила свой монастырь и имела намерение переселиться в Тихвинский девичий монастырь, заехала лишь по пути в Ивер принять благословение на преднамеренное дело у общеуважаемого старца, о. архим. Лаврентия. Вот эту-то послушницу Параскеву Иванову и указал мне батюшка как спутницу, советуя с ней съездить в Тихвин, поклониться чудотворной иконе Тихвинской Богоматери, погостить в женском Введенском монастыре, приглядеться к жизни сестер и, если Бог расположит мое сердце, то и поговорить с матушкой игуменией о моем туда поступлении. С отеческим вниманием напутствовал меня святой старец, благословлял, ласкал, как родной отец, а спутнице моей (ей было уже за 40 лет) строго наказывал «беречь и охранять меня во все время пути», говоря, что Сам Бог для этого и привел ее сюда. На другой день

вечером мы уже садились на станции Валдайке на железную дорогу до станции Чудово. Валдайка была лишь в десяти верстах от усадьбы моих родителей, которые и не воображали, что именно в этот вечер их родная дочь, находясь так еще близко от них, отъезжает далеко-далеко с намерением навсегда покинуть их, и что если она и вернется, то на самый краткий срок, чтобы только окончательно проститься с ними. Как раз в последний день года, декабря 31-го, в полдень мы въехали в городок Тихвин; златоглавый мужской монастырь, с чудотворной иконой Богоматери, давно уже остановил наше благоговейное внимание, но, подъехав к нему, мы миновали его, направляясь прямо к главной цели, к женскому Введенскому монастырю. Святые ворота его были отворены, мы въехали, ища глазами кого-либо, чтобы спросить, куда можно пристать и остановиться, но никто не показался нам на улице, и мы доехали до самого соборного храма, окруженного могилами. Вдруг из дверей одного из длинных монастырских корпусов потянулся целый бесконечный ряд монахинь; оказалось, что все они обедали в трапезе, откуда и шли. Окружив нас, они объявили, что у них нет гостиницы для богомольцев, потому что, так как монастырь в городе, то в этом нет никакой нужды, да и притом почти все богомольцы останавливаются в Большом (т. е. мужском) монастыре.

Мы уже хотели вернуться в последний, но одна старица, мать Вера, остановила нас, сказав: «Подождите немного, я пойду доложу матушке игумении, может быть, она и благословит вам остаться здесь». Через несколько минут она вернулась и пригласила нас в свою келью, где тотчас же предложила нам самовар и принесла трапезную пищу. Какое отрадное впечатление произвела на меня эта, в первые же минуты моего приезда в обитель, встреча лицом к лицу всех сестер! Это напомнило мне нечто институтское, когда мы свободно и весело выходим

из класса, или из зала, болтая друг с другом в простоте братского общения! Все лица сестер казались мне простыми, ласковыми, и мне невольно пришли на ум слова: «се покой мой, zde вселюся!» Еще не успели мы наобедаться монастырской трапезой, как пришла молоденькая послушница матушки игумении и передала нам, что если мы желаем видеть матушку, то она теперь может нас принять. Как обрадовалась я этому приглашению! Спутница же моя почему-то не захотела им воспользоваться и сказала, что еще успеет переговорить с матушкой и принять ее благословение. И это было мне на руку, что могла беседовать с матушкой игуменией наедине.

В то время настоятельницей Введенского монастыря была очень образованная великосветская девица, дочь генерала И. Тимковского, воспитанница Смольного института (в мире Ольга) Серафима Тимковская. Как ни велико было мое стремление к жизни монашеской, как ни велика любовь к представителям ее, тем не менее, невольный трепет овладел мной, когда, приведенная в кельи игумении и оставшаяся ожидать ее выхода, я невольно задавалась вопросом: «Что-то будет со мной?» Но вот из противоположной двери вышла монахиня, роста более, чем среднего, хотя и не высокого, довольно полная, моложавая, красивая, с чрезвычайно добродушным выражением лица. Она направлялась ко мне и, поздоровавшись, пригласила сесть; приказав послушнице подать чай, обратилась ко мне словами: «Не правда ли, нам можно чайку выпить, — вы с дороги». Потом продолжала: «Что, вы помолитесь к нам приехали?» — «Не только помолиться, — ответила я, — но и совсем бы поселиться у вас я бы желала».

«Вы еще такая молоденькая, — сказала она, — впрочем, Бог всех призывает и во всякое время; но что об этом говорить так рано, вы прежде погостите, поглядите на нас, познакомимся,

тогда и поговорим». Я отвечала, что это и есть главная цель моего приезда, и что остаться теперь я еще не могу, не получив окончательного благословения родителей и не развязавшись совсем с мирскими делами. Долго мы еще беседовали с матушкой, которая своей лаской и добродушием так привязала меня к себе, что я почувствовала к ней какую-то родственную любовь. Она позволила мне гостить до Крещения (так как дольше мне самой нельзя было мешкать) и перевела меня поближе к себе — в мезонин над ее кельями, где жили старица монахиня Глафира, одна барышня М.Н.Д. и их келейница.

Почти ежедневно приглашала она меня к себе, время это было праздничное, следовательно, и сестры были свободны от общественных занятий (послушаний), и я могла ближе ознакомиться с ними и узнать от них некоторые подробности монастырской жизни. Я неоднократно ходила молиться и в «Большой» монастырь к чудотворной иконе Богоматери, и так почти незаметно протекла целая неделя моего пребывания в Тихвине; надобно было собираться в обратный путь, и сердце мое снова начинало сжиматься при сознании, что снова должна я вернуться к нестерпимой для меня мирской жизни, хотя бы и ненадолго, но чем ближе наступил бы час окончательной с ней развязки, тем большие скорби ожидали меня. Перед отъездом я пошла проститься с матушкой игуменией и окончательно порешить с ней о деле моего поступления в обитель. Добрая матушка обласкала меня на прощание, как родная мать; и я, незнакомя с монастырской дисциплиной по отношению к настоятельницам, отнеслась к ней так сердечно и искренне, раскрыв пред ней все свое сердце, все мысли и все обстоятельства моей домашней жизни. Я слышала от сестер, что вступающие в монастырь дворянки, по большей части, вносят вклады денежные, так как разделять более тяжелые труды монашеских послушаний они не способны,

а быть в тягость обители, не принеши ей никакой пользы, как-то и грешно. Я, как упоминала и раньше, имела свою собственность по наследству от деда; кроме того, имела долю и в общих усадебных имениях; но как то, так и другое было в руках матери, и просить ее о вкладе за меня в монастырь значило подать новый повод к задержанию меня в мире и даже к раздору в родной семье. Деньги, доставшиеся мне от деда наличными, по словам опекунши-матери моей, были ею потрачены на мой выход из института, когда мне было сделано все нужное и даже приготовлено приданое; деньги, находившиеся по долгам под векселя, нельзя было еще получить суммой, а проценты, получаемые с них, мать моя тратила не на мою только нужду, а и на общие всего семейства; это я знала и никогда не думала против этого протестовать. Дорогие вещи, доставшиеся мне по наследству, а равно и мое приданое, и все мое, мало ли, велико ли оно было, — все было в руках матери, так как я еще не достигла совершеннолетия, 21-го года. Мне было лишь девятнадцать лет. Могла ли я надеяться на ее щедрость, припоминая историю с серьгами, особенно, когда дело шло о моем удалении в монастырь, совершенно противном ее желанию и воле. Один только домик составлял в полном смысле мою собственность; все документы на него были у меня в руках, может быть, потому только, что я в нем жила и они были для сего необходимы. Но как бы то ни было, не видя никакого другого источника, я пришла к решению продать этот дом и вырученными деньгами внести за себя вклад монастырю и устроить все свое переселение, на что также понадобятся деньги.

В последнюю свою беседу с матушкой игуменией я все это объяснила ей, прося и назначить мне сумму взноса. Каково же было мое удивление, когда на это матушка отвечала: «Зачем же вам вклад, такие личности, как вы, — сами клад для монасты-

рей, потому что их весьма мало приходит к нам; ведь вы можете принести нам много пользы, как ко всему способная, образованная девица, притом же хорошо знающая не только пение, но и музыку, чему мы нарочно обучаем простых крестьянских девушек, за неимением ученых. Вы лучше припасите что-нибудь для себя, ведь и в монастыре надо многое, и ряса, и одежда всякого рода, и чай, и многое, многое, — вам, я думаю, говорили об этом сестры». Видимо, матушка игуменья расположилась ко мне, просила написать ей обо всем, что последует из моего решительного разговора с матерью, и напутствуемая ее благословениями, со слезами о разлуке с ней и с сестрами, я отправилась в обратный путь, с твердым решением покончить дело.

IX

Чем ближе я подъезжала к дому, тем сильнее сжималось мое сердце предчувствием чего-то недоброго. Вернулась я в свой домик поздно вечером, около 11 часов, когда все домашние уже спали; это было согласно моим планам, ибо я хотела хотя первые часы по приезде провести одна, избегая расспросов и пересудов о моей поездке, о которой, как я предполагала, никто не мог знать, кроме того, что я поехала в Ивер. Но я ошиблась: почти весь городок наш знал об этом все подробности, знали и мои родители, очень встревожившиеся такой неожиданностью. Брат мой Костя, тоже вернувшийся уже из усадьбы к началу занятий и в час моего приезда спавший в своей комнате, встал и, поздоровавшись со мной, сообщил мне много неприятного относительно того, как взглянула мать моя на эту поездку. «Хоть бы объездила она все монастыри, — сказал он слова моей матери, — я не отпущу ее, это бредни ее, и слышать ничего не хочу». К ужасу моему, я увидела, что благословение, данное мне ею, или забыто ею, или она не придает ему никакого значения.

Костя просил меня, однако, не говорить матери, что он передал мне ее слова, я же не только дала ему в этом обещание, но и сама просила его не подавать и вида, что мне что-нибудь известно. Делала же я это в том соображении, что пока я еще не видела матери, а, следовательно, и не слыхала ее выговоров, я могла действительно ничего не знать и спокойно действовать в своих планах и намерениях. На следующее же утро я поспешила послать записку (написанную мной ночью) к одному знакомому нашему Доктору Вл. Ев. Хлебникову, не раз любовавшемуся моим домиком и изъявлявшему желание купить его, извещая его, что я согласна продать свой домик, и что, если ему угодно, он может придти переговорить со мною. Поспешила я это сделать в том соображении, что если, когда приедет матушка и, конечно, будет протестовать, то дело, как уже начатое, ей не так удобно будет остановить, — постесняется посторонних лиц. Он не замедлил приехать, осмотрел весь домик, но говорить о цене я отказалась сама, сославшись на свою неопытность и просила обождать, пока приедет мать. Мать не замедлила приехать: она собиралась «разделяться» со мной за мою поездку в Тихвин, а узнав, что я еще и дом запродаю, так огорчилась на меня, что я и описать не могу. Никакие с моей стороны напоминания о данном ею благословении, никакие доводы о моем призвании, никакие слезы, ни мольбы не сильны были успокоить ее. Она даже угрожала мне лишиться меня навсегда своего материнского благословения, то есть на всю мою жизнь, как бы она ни устроилась: «Если так, — говорила она, — то ты и не знай меня, забудь, что у тебя есть мать, и мне легче будет забыть тебя, чем живую похоронить в стенах монастырских». Относительно же продажи домика она сказала: «Пожалуй, продай дом, ты в нем для того, как видно, и поселилась, чтобы удобнее ходить по церквам, да по монастырям, на своей волюшке, а не будет дома,

ты опять будешь с нами в усадьбе, и мы скорее рассеем твою святость, твою хандру». Казалось, всякая надежда мне изменяла; мне оставалось безмолвно оплакивать свою долю и — повиноваться ей.

Дела с г. Хлебниковым продолжались, но ужас брал меня при мысли, что этой продажей я себе самой рою яму, из которой едва ли когда выйду. Советников у меня не было, кроме о. игумена Вениамина и о. архимандрита Лаврентия, но последнему я могла только писать, что, конечно, имеет своего рода неудобства, а первому я действительно все открывала и его только словами и утешениями и поддерживалась. Между тем, такой быстрый и неожиданный переворот всех моих планов, такое полное отчаяние в осуществлении их хотя бы когда-нибудь, сильно повлияли на мое здоровье; никакой органической болезни у меня не было, но я едва, едва влачила ноги, аппетит и сон отказались поддерживать меня, я скучала, и скучала не просто, как случилось и прежде, а как-то убийственно тяжело, всех избегала, воображая, что все на меня «пальцем показывают», все осуждают, как преступницу, или как сумасшедшую, и тому подобное. Молитва моя — это единственное оставшееся мне утешение — и та лишилась прежде воскрылявшей ее надежды, в ней осталась одна лишь беззаветная любовь к Сладчайшему моему Небесному Жениху Христу, и я, едва ли еще не с сильнейшей любовью к Нему говорила: «Вскую мя отринул еси от лица Твоего, Свете мой!» «Что ми есть на небеси, и что восхощу на земли. Ты — Боже сердца моего во век!» «Тебе, Женише мой, люблю и Тебе ищущи страдальчеству!» «Не буди мне оставити Тя!» и проч.

В таком томлении провела я весь январь месяц. 26 января, в день моего Ангела приехали из усадьбы все наши и нашли, что я очень изменилась и похудела. Для них понятна была причина этого, однако, мать моя оставалась тверда в своем ре-

шении, с чем и уехала обратно в усадьбу. Да я уже и не льстила себя никакой надеждой, считая волю матери бесповоротной. Но тогда-то именно, когда исчезает всякая человеческая надежда, является помощь свыше, — «да премножество силы будет Божия, а не от нас», — по слову апостола.

В ночь на 1 февраля видится мне необычное сновидение, поднявшее хотя несколько совсем упавший мой дух. Виделось мне, что я вместе с матерью моей нахожусь в ее комнате; подошед к окну, вижу толпу народа, по дорогам со всех сторон идут и бегут еще люди всякого возраста и пола и присоединяются к этой толпе. Взоры всех и каждого устремлены кверху, все смотрят на небо, крестятся и молятся. По воздуху несут икону Богородицы, и несущие ее поют в честь Пречистой песни, мне неведомые. (На воздухе, как известно из книг, явилась Икона Богородицы Тихвинская.) Небо голубое, совершенно безоблачное, солнце светит высоко, как в полдень, повсюду звонят во все колокола, звон колоколов сливается с небесным пением. На земле среди столпившегося народа видны и хоругви и кресты, точно бы совершается крестный ход и внизу, и на небе, я стала просить матушку, чтобы она и меня отпустила туда же, но она не пустила меня, и, указывая на образ Казанской Богородицы, висевший (действительно) в ее киотном угольнике, сказала: не пущу никуда, молись здесь, и без того много ханжишь!» (это обычное ее выражение). Сказав это, она сама вышла из комнаты, заперев меня в ней на замок. Оставшись одна в запертой комнате, я бросилась на колена пред иконой Казанской Богородицы и горько зарыдала. Вдруг, не знаю, каким образом, чрез дверь ли или иначе, я очутилась среди толпы под самой иконой, несенной по воздуху, и Владычица с высоты сказала мне: «Ну, вот и ты у Меня, — не плачь!» Пробудившись, я истолковала

себе это сновидение, как предзнаменование моего скорого ухода в монастырь, хотя по человеческим моим соображениям, надежды к тому не могла иметь ни малейшей.

Дня три спустя после этого около 3-х часов пополудни я сидела одна в своей комнате, когда мне подали с почты письмо. По почерку я узнала, что оно было от о. архимандрита Лаврентия, и очень обрадовалась. Но какова же сделалась моя радость, а вместе и удивление, когда я стала читать его!

Вот оно слово в слово.

«Мир тебе, овца Христова стада!

Спешу обрадовать тебя тем, чему ты, может быть, уже и радуешься. Впрочем, пусть и из Ивера летит к тебе привет, да знаешь ты, что и тут есть душа, пекущаяся о тебе, овечка Божия, не менее, может быть, как ты и сама о себе. Итак, приветствую тебя, радуюсь за тебя! Для всех людей наступает скоро Великий пост, а для тебя — Пасха, буквально Пасха, — переход чрез Черное море твоей многострадальной жизни, в землю обетованную, в обитель «кипящую медом и млеком» духовных плодов подвижничества. Матушка твоя сегодня только уехала от меня; а прибыла она сюда по особенному указанию Пресвятой Богородицы, явившейся ей и повелевшей отпустить тебя на служение Ей, что она и обещала исполнить не медля. Подробности сего она сама тебе сообщит, если заблагорассудит, — это дело ее, впрочем, с тебя и того довольно. Прибавлю только к сему, что матушка твоя — прекрасная, истинная христианка, а что упорствовала она, не отпуская тебя в монастырь, то это единственно по безграничной, материнской любви своей к тебе.

Итак, радуйся, и паки реку, радуйся и пиши мне.

Твой отец, убогий А. Лаврентий».

Не веря своим глазам, я несколько раз перечитала эти бесценные строки, целовала их, как писавшую их руку и, нако-

нец, не вмещая в себе полноты радостных и благодарных Богу чувств, поспешила поделиться этим с неизменным своим старцем, от. игуменом Вениамином, взяв с собой и самое письмо.

Несмотря на такое веское уверение, как письмо архимандрита Лаврентия, и на предшествовавшее утешительное мое сновидение, мне все еще смутно верилось в возможность осуществления сего. Но вот приехала и сама матушка. Я, по обыкновению, выбежала встретить ее на крыльцо, но она, как только увидела меня, так зарыдала и опустилась на стул. Я поняла причину ее волнения, но вместе и испугалась, чтобы эта причина не вызвала вторичный отказ и перемену намерений. Когда она, поднявшись в мои комнаты, успокоилась, то рассказала мне следующее: «В ночь на 1 февраля (именно в ту ночь, когда и меня утешила Владычица) я была очень встревожена странным видением и голосом, порицающим меня за тебя, Машенька, то есть за то, что я не хочу отпустить тебя в монастырь. Едва дождалась я рассвета и тотчас приказала заложить лошадей, чтобы поехать в Иверский монастырь к отцу Лаврентию, думая поговорить с ним от души, да помолиться Царице Небесной. Вот там, с благословения Владычицы, я и дала обещание не удерживать тебя более». Сказав это, она снова заплакала и стала ласкать меня, каясь, что причиняла мне столько душевных страданий и томлений. Она позволила мне делать надлежащие приготовления к предстоящей мне новой жизни, поспешить с продажей домика моего и окончательно собираться в путь.

Домик свой я продала Хлебникову за 10000 р.; в провинциальных городах, таких небольших, каким был в то время г. Боровичи, дома не дороги, да и притом же мой домик, при своем удобстве и местоположении (на углу), был уже не новый. Несмотря на невеликость этой суммы, я оставила из нее себе

лишь 700 р., половину которых думала внести в монастырь в виде вклада, хотя и помнила слова о сем игумении. Все свои платья, приданое, все дорогие вещи я оставила в распоряжение матери, а, что было попроще, и менее ценное раздала бедным.

Все время этих подготовлений матушка была со мной в городе, отправляла мои вещи и мебель в усадьбу, наконец, отправились и мы с ней вместе туда же, предварительно съездив в последний раз проститься с незабвенным моим отцом и первым духовным утешителем о. Вениамином. В усадьбе я пробыла несколько дней, поспешая вырваться оттуда, потому что было очень тяжело видеть всеобщие их слезы и непритворную скорбь обо мне. Был назначен день моего отъезда; рано утром все поднялись на ноги; приглашенный к этому дню отец игумен Вениамин в присутствии всех собравшихся проводить меня родных и знакомых отслужил молебен пред иконой Казанской Богоматери (виденной мной во сне). Этой иконой благословили в замужество мать мою, ею же она захотела благословить меня на жизнь иноческую. По окончании молебна сам о. игумен Вениамин вынул из киота икону и подал ее матушке, перед которой я стала на колени. Когда, благословляя меня, матушка моя поставила мне на голову икону, то сама она едва не упала от сильного наплыва чувств и горя. И мое сердце скорбело о ней, я не могла не понимать, сколько горя и самоотвержения причинила я ей своим уходом. Затем все кончилось: мы обе с ней сели в приготовленную кибитку и, напутствуемые слезными прощаниями, отправились по большой дороге к станции Валдайке, миновав которую, думали проехать в Иверский монастырь к о. архимандриту Лаврентию, чтобы мне принять его напутственное благословение. За нами в других санях ехала наша старушка, бывшая наша крепостная женщина, которой поручено было сопровождать меня до самого Тихвина, а на Валдайке она

должна была отправить мои вещи до Чудовской станции, чтобы они пришли туда ко времени нашего прибытия, чтобы мы могли взять их с собой, когда поедем лошадьми от Чудова до Тихвина.

Х

Но Бог не судил матушке проводить меня и до Ивера: от сильной тревоги, от скорби и волнения она совсем расхворалась и должна была с Валдайки вернуться домой, обещаясь выехать сюда же в тот день, когда вернусь из Ивера, чтобы сесть на машину.

В Иверском монастыре я пробыла три дня; отчасти это было и необходимо, чтобы мне отдохнуть душой от бывших за последнее время треволнений и хотя несколько подкрепить свои нравственные силы для вступления на новый нелегкий путь монастырской жизни. Не велик, кажется, срок — три, четыре дня для нравственного подкрепления на великое дело, но для меня эти дни оказались лучшими и незабвенными на всю мою последующую жизнь; я провела их исключительно в молитве и почти целодневном общении и духовной беседе с великим старцем и опытнейшим настоятелем монашесствующих. Он не читал мне длинных и сухих поучений, но старался из всякого случая обыденной жизни извлечь урок и назидание. Не лишним будет, думаю, если укажу здесь некоторые примеры: по приказанию батюшки, я в эти дни всякий раз после ранней Литургии приходила к нему пить чай; ежедневно на площадке у входной двери его кельи толпилось множество нищих и калек, которым келейник его (его родной племянник Василий, называемый им «Бурсой», потому что он воспитывался в семинарии, в «бурсе», т. е. в общежитии) разделял деньги, как потом я узнала, по положению по 3 рубля в утро. Случалось, что денег этих не достанет на всех,

и «Бурса» заропщет на их множество, тогда батюшка скажет: «Бурса, поставь себя на место нищего: легко будет тебе, когда не дадут тебе милостыньки, да еще и заропщут на тебя? Не жалеи, друг мой, и своего-то, не только чужого; нищие — это братия Христова, их особенно надобно миловать». Еще говорил он мне по этому же поводу: «Не залеживалась у меня никогда ни одна копейка, всегда я находил ей, по милости Божией, место в руках неимущих; о, там сохранится она гораздо лучше, чем в самом прочном кошельке».

Говоря со мной о подвигах монашеской жизни, он советовал мне «не вдавать себя каким-либо подвигам, особенно самовольно, чтобы враг не посмеялся мне, как неискусной, то есть неопытной, и не повел бы к худшей скорби». «Берегись, — говорил он, — берегись во всем излишества; где нам немощным налагать на себя трудные подвиги? Дай Бог нам стяжать смирение и послушание, что выше всяких подвигов». Скажу тебе словами одного богомудрого старца: «Подвиги для монаха — лакомство, а послушание и смирение — пища». Без пищи жить нельзя, а без лакомства можно. Скажу тебе и другой пример: к одному пустыннику пришел монах просить у него благословения надеть «вериги», или, по крайней мере, власяницу, старец не ответил ему, а предложил трапезу; во время беседы старец ударил пришедшего к нему, тот оскорбился и стал выговаривать ему в свою защиту. Тогда старец-пустынник встал и поклонился в ноги гостю, говоря: «Прости меня, чадо, я хотел посмотреть, можешь ли ты носить вериги, о которых просил». Монах получил урок, что прежде чем думать о веригах, надо научиться смирению и безропотному сношению оскорблений». Еще говорил: «Вспомни житие преподобного Досифея, как он в пять лет путем послушания и смирения достиг совершенства монашеского и был вчинен после смерти в лике великих старцев; это поучительно для каждого новоначального

послушника, имей и ты этот пример непрестанно перед глазами и старайся подражать ему. Впрочем, этим я не хочу погашать в тебе усердия к трудам подвижничества, но хочу только внушить тебе, что смирение и послушание — эти духовные подвиги — выше всех остальных. В монастырских общежитиях от постоянных соприкосновений друг с другом и в послушаниях, и в келиях, почти неизбежно возникают столкновения, скорби и тому подобное, — вот тут-то и найдешь для себя повод к смирению, к безропотному несению скорбей, к безусловному послушанию не только старшим, но и равным, и младшим. Не соблазняйся этим; это — духовное горнило, очищающее душу инока, подобно как вещественное горнило очищает золото. Это лучшее училище самопознания, как вышеприведенный пример монаха, не могшего снести заушения старца, а бравшегося заковать себя в вериги; общежитие — наилучший учитель смирения». Когда я спросила его о посте и вообще об употреблении пищи, он отвечал: «Думаю, еще рано говорить об этом; пока вот тебе мой совет: следуй в этом общему правилу и уставу монастырскому, никакого особенного поста на себя не налагай, довольствуйся и держись трапезы; еще как примет ее твой организм, доселе балованный, неженный, трапеза в монастырях всегда суровая, постная, дай Бог, чтобы ты ее переносила; а в противном случае — не ропщи, помня, что в монастырь идут не для сладкоядения и пресыщения, а для алчбы и лишения. Воспитывай себя, то есть своего внутреннего человека, во всем; придерживайся в этом случае порядка, каким шло твое воспитание научное: ведь не вдруг тебя стали учить высшим наукам, а начали с азбучки, так и душе нашей бесполезно и нельзя браться за высшие подвиги и посты, пока не изучит духовной азбучки — смирения и послушания».

Раз, когда мы с батюшкой обедали в его столовой, он сказал мне: «Я знал одного старца, который говорил про себя, что он

не был постником, но никогда во все время монашества не поел в аппетит; он нарочно портил себе кушанья: или пересолит так, что, казалось бы, и есть нельзя, или кушает совсем без соли, или же смешает вместе два или и больше кушаний и ест так, что, видимо, сам насилу глотает». Я поняла данный мне этим урок. Сказанное же им как бы о другом старце, я поняла, как его собственное дело, так как он сам часто поступал таким же образом.

Когда рассуждали мы с ним о молитве, то о ней он сказал так: *«Вся жизнь инока должна быть непрерывная внутренняя молитва»*. Молись непрестанно, молись внутренно во время дела, во время отдыха, всегда, всегда предзри пред собою Господа, твоего Жениха Небесного, чтобы сердце твое ни на минуту не изменило Ему ни одним помыслом. Дорожи своим призванием, но помни, что *«много званных, а мало избранных»*, не по твоей заслуге избрал тебя Господь, — ты еще и не начинала служить Ему, а это — всецело Его великая милость к тебе, и кому много дано, — много и взыщется с него, да *«не вотще благодать Божию прияти нам»*.

Батюшка снял с своей руки старые поношенные шерстяные вязанные четки и, подавая их мне, сказал: «По этим четкам я приучал себя к непрестанной молитве, — возьми их, если не побрезгуешь, может быть, хватит их и для твоего обучения». (Эти четки у меня по сие время хранятся, и я хотела бы сохранить их до самой смерти моей.) При этом он прибавил: «Я знал одного старца, который говаривал: «По милости Божией, я сохранил обеты нестяжания; но на четках готов носить алмазы, ибо всякий шарик их соединен с сладчайшим именем моего Господа».

Много подобных примеров и изречений приводил мне батюшка, но почти каждая наша с ним беседа оканчивалась его ободрятельными мне словами: «Ты пойдешь. Тебя Сам Господь как бы за руку ведет: Он вывел тебя, и Ему Одному ведомыми судьбами,

из среды мира, вывел и поставил на пути удобнейшего служения Ему. Он и не оставит тебя Своей благодатью. Я спокоен за тебя». Такие любвеобильные, отеческие слова не могли не проникать в самую глубину моей души; я слезно благодарила Бога за то, что Он послал мне такого отца и старалась запоминать все его слова, которые тотчас же записывала для памяти. О, какой отрадной помощью служили они мне в минуты скорби и недоумений монастырской жизни! В день отъезда моего из Ивера я приобщалась Св. Тайн за ранней Литургией, после которой по обычаю пошла к о. архим. Лаврентию. После поздней Литургии он сам отслужил для меня напутственный молебен пред чудотворной иконой Иверской, вручив меня Ее всемилостивейшему покровительству. Затем, отобедав у него, я стала собираться в путь. Достав из киотника своего икону «Беседной Богоматери» (за три версты от Тихвина находится Беседный монастырь с чудотворной иконой этого имени), он благословил меня ею, со слезами отеческого расположения и любви он неоднократно поцеловал меня в голову, я же обливала слезами его благословляющую меня десницу. «Пиши мне, овца, — сказал он, уже провожая меня за двери, — я буду по возможности отвечать тебе, молись за меня, а я уже вечный твой молитвенник». Эта разлука с человеком, столь близким мне по духу, понимавшим все движения и стремления моей души, так любвеобильно и внимательно отнесшимся ко мне в то страшное для меня время, когда, как мне казалось, весь свет от меня отвернулся, признавая меня за лишившуюся разума, разлука с человеком, которому я обязана всей своей последующей жизнью, была для меня гораздо чувствительнее разлуки с родителями и со всем, что я могла назвать «своим».

XI

Выехав из этой, незабвенной для меня по гроб жизни, обители, я долго обращала к ней взор, полный слез, внутрен-

но молилась и крестилась на кресты ее храмов, пока совсем они не скрылись из вида. «О, если бы также приласкала меня и моя будущая Введенская обитель, которой всецело отдаться намерена я, думалось мне, но этого быть не может; там — школа духовного воспитания, там предстоит борьба со своим внутренним человеком, там по всему — путь крестный, а «без креста не увидишь и Христа», как говорил мне, по пословице, мой батюшка, о. Лаврентий». В таких размышлениях и воспоминаниях я незаметно доехала до железнодорожной станции Валдайки; так как лошади, привезшие меня, были монастырские, то мы и остановились у маленького деревянного домика, где жили монахи Иверского монастыря, то есть на Иверском подворье. Там давно уже ожидала меня моя матушка, стремясь еще хоть раз взглянуть на меня и проводить на машину. Пользуясь оставшимся до прихода нашего поезда временем, мы с ней уже в последний раз в жизни вместе напились чаю. Конечно, не предполагая этого, я шутила с ней, стараясь развлечь ее и не допустить до рыданий, которыми, казалось, уже готова она была разразиться, шутила, говоря: «Вот, мамочка, Бог даст, ты приедешь ко мне в Тихвин, и мы с тобой точно также будем пить чай в моей келье». Она на это горько улыбнулась и отвечала: «Да будет ли это? — Нет, Машенька, мне не перенести разлуки с тобой. Легче бы мне было похоронить тебя в могилу, чем живую оторвать от себя». Обе мы расплакались, да и не мы только, а и все присутствовавшие. Но вот настало время, и мы все направились в вокзал; я ничего не помню, как что было, и как нас усадили в вагон, помню только, как матушку мою повели под руки из вагона, когда я осталась там с провожавшей меня старушкой. Не помню сама, как моментально пришла мне мысль, которую я еще успела, выскочив из

вагона, высказать поддерживавшим матушку людям: «Уговорите ее, или насильно свезите ее прямо в Иверский, она там успокоится». И это мое последнее невольное слово было исполнено добровольно самой матушкой, когда ей его передали. Об этом писала мне она сама, а также и о. Лаврентий, который для обеих нас стал поистине ангелом-утешителем.

Дальнейший путь наш был благополучен, и 19 февраля я была уже в Тихвине, где на всю мою жизнь заключилась в обители. Странное и непонятное мне самой чувство овладело мной, когда я стала подъезжать к Введенскому монастырю; вдруг пришла мне непроизвольно мысль, что нелепо мне въехать во святые врата обители в своем, хотя и дорожном, но все же удобном, тройкой лошадей впряженном, экипаже; не так Спаситель наш шел на Голгофу, не в порфире и убранстве царского благолепия возмог и царь Ираклий внести святой крест во врата града, не так и мне подобает вступить в святые врата обители, где намерена я нести крест Христов — достояние монашеской жизни. Я вышла из саней и пошла позади их. Бог свидетель, что сделала я это безотчетно, сама не понимая, какую связь этот поступок имел с приведенными, тоже непроизвольными мыслями. Некоторые сестры и сама м. игумения увидели меня, идущую и направляющуюся прямо к игуменскому корпусу. Я сряду же пошла к м. игумении спросить о том, где она благословит меня остановиться и сложить свой багаж. Она указала мне ту же самую келью, в которой я гостила у старицы монахини Глафиры, в мезонине над игуменскими покоями. На вопрос матушки о том, отчего я шла пешком, а не сидела в санях, я сказала ей всю правду, на что она отвечала мне: «Сам Господь голосом вашего собственного сознания напомнил вам, что монастырская жизнь — жизнь крестная».

ХII

День моего приезда и водворения в обители был, как я упоминала, 19 февраля; это был родительская Суббота перед масляницей; масляница и в обителях имеет некоторую льготу против обыденной жизни: последнюю половину недели, с четверга, сестры освобождаются от общественных работ, то есть от послушаний, трапеза поставляется сравнительно лучшая, кроме того, на ней подают блины, да и по кельям не возбраняется печь блины и все, что угодно. Но вот наступал Великий пост, пришел вечер «Прощального Воскресенья». По обычаю, существовавшему в Введенском монастыре в то время, в Прощальное Воскресенье после вечерни, за которой все прощаются друг с другом, идут все в трапезу заговляться, идут даже и больные, и увечные, одним словом, все сестры, могущие хотя только передвигать для ходьбы ноги. Наша м. игумения Серафима обязательно ходила ежедневно в трапезу обедать, а в этот день приходила и ужинать. После ужина читались положенные молитвы, а затем снова все начинали прощаться, кланяться друг другу в ноги, не исключая и м. игумении, тоже кланявшейся в ноги всем сестрам. Затем все расходились по кельям, где и пребывали безысходно до субботы первой недели Великого поста, кроме церкви, которую посещали во время каждой службы, а на первой неделе больше службы, чем отдыха. Пищи вареной не давали во всю неделю, а в «чистый» понедельник и в пятницу не полагалось ничего, кроме ломтя черного хлеба. Питие чая было предоставлено произволу и силам каждой сестры по ее усмотрению; немощным и клиросным он разрешался, а остальные предпочитали воздержание. В пятницу с раннего утра начиналась исповедь: для монахинь постриженных приезжал духовник, иеромонах из «Большого» Тихвинского монастыря, а послушницы исповедовались у своих

белых монастырских священников. В субботу все были причастниками Святых Христовых Тайн. Затем, последующие недели до Страстной недели были уже гораздо льготнее, — трапеза, хотя и очень постная, поставлялась по дважды в день, и проходились обычные монастырские послушания. Я, как «новичок», всему этому удивлялась и восхищалась, но не без труда было мне после самоугодной по отношению к пище мирской жизни. Мы обе с сожительницей моей, барышней М.Д предпочитали «самоварчики» всякой постной пище, к которой привыкнуть не могли.

Так проходил Великий пост, в конце которого м. игумения позволила мне озаботиться отдать шить для себя рясу, обещая одеть меня в нее к светлому празднику Пасхи. С какой искренней чистой радостью приняла я это благословение, считая величайшей честью надеть эту «ангельскую одежду», хотя бы из самой суровой крашенины (крашенного холста) или и того суровее. Надобно при этом заметить, что при себе денег у меня почти не было. Семьсот рублей, привезенные мной из мира, я целиком показала матушке игумении, прося ее взять из них 300 рублей взносу за меня, а остальные оставить в мою собственность на мои нужды. Добрая матушка опять повторила мне прежние свои слова, сказав, что все эти деньги спрячет для меня и будет мне выдавать с них проценты два раза в год по 17 рублей, что и исполняла неизменно. Но какие это были деньги при тех условиях жизни, в каковые мы были поставлены! Мы имели готовые только кельи, дрова и скудную трапезу, конечно, это существенные нужды, зато все остальное у нас должно было быть свое: чай, сахар, если бы понадобился, — и кусок белого хлеба к чаю (что при скудной трапезе было почти необходимо), одежда, обувь, белье, верхнее платье, посуда, самовар и все, все жизненное от малой до большой вещички, даже уголья и лучину для самовара, все надо было купить. По-

нятно, что при таких условиях мне приходилось нести лишения во всем и во всем себе отказывать. Помня наставления батюшки, я безропотно несла всякие лишения, но человеческие немощи все же давали себя чувствовать.

На светлый праздник Воскресенья Христова, перед самой уже утреней, меня одела матушка игуменья в рясу, дав в руки и четки, как символ непрестанной молитвы. Не сумею я высказать, какая неземная радость наполнила мою душу; я чувствовала себя и воображала счастливее всех на свете, а может быть, и действительно была такова, если справедливо то, что счастлив тот, кто доволен своей судьбой. Впрочем, старица моя, монахиня Глафира, предупреждала меня, говоря, что “с одеянием монашеским я возлагаю на себя и монашеский крест”. Я тогда не могла понять силы и значения этих слов, или же, может быть, безграничное мое стремление к монашеству не давало мне вполне понять, или иначе сказать, закрывало от меня силу и смысл слов “монашеский крест”. Но жизнь сама собой скоро открыла мне глаза и показала этот крест во всей его тяжести. Не стану описывать, да и возможно ли было бы описать все скорби монастырской жизни, понятные только тому, кто понес их на своих раменах, и сам их изведal и познал; а кто не коснулся их, тому напрасно и говорить о них, ибо сочтет он их мелочами, пустяками и тому подобным и никогда не поймет их значения.

Одевшись в монастырскую рясу, я стала совершенно “послушницей”, а потому и стала разделять все монастырские послушания, то есть общественные обязанности и службы. Прежде всего меня поставили на клирос — петь и читать в церкви, а затем заставили делать и всякое случавшееся дело, не спрашивая, конечно, могу ли я, умею ли, способна ли, в силах ли и тому подобное, одно слово: «послушание

не рассуждает», «не прекословит»); велели — делай, сказав: «благословите». Если испортишь,— и поплатишься, а все же останешься виновным. Приходилось мне, например, исполнять чередное послушание: мыть посуду после обеда сестер (то есть после трапезы). Казалось бы, чего легче этого дела? Однако, окончив свою неделю череды, я не находила покоя рукам, до крови изъеденным горячим щелоком, в котором приходилось им непривычно купаться, пока не вымоют до 200 тарелок, столько же блюд и столько же ложек; долго не могла я приняться ни за какую работу, потому что кожа лепестками сходила с рук, все зацеплялось, не спорилось, не говоря уже о боли, о которой если упомянешь, то ряд насмешек и колкостей посыплется на тебя: «вот так послушница-труженица, посуды не вымыть!» Первое лето мне, как новоназначенной, необходимо было исполнять все и общественные полевые работы: я ходила в огороды полоть, поливать, прогребать, ходила на сенокос и на жниву, и всюду, куда посылали. Само собой разумеется, что работала я очень плохо, тем не менее, работала почти до вечерни, незадолго до которой приходила домой, чтобы приготовить старице и сожительнице самовар, что лежало на моей обязанности, как младшей в келье, когда келейница наша была занята на более еще трудных послушаниях, иногда и далеко от обители; сама же я, как бы ни была уставшей, но всегда имела возможность выпить чайку «в удовольствие», как и сколько бы захотелось. В 5 часов ежедневно я ходила к вечерне, после которой оставалась слушать читаемое «монашеское правило», состоявшее из трех канонов, акафиста и помянника, хотя это было обязательным только для монахинь, а не для новоназначенных. Мне было легче в церкви, как, бывало, выплачешь в молитве пред Богом все свое горюшко, а его было немало. В келье

тоже не совсем хорошо мне было; сожительница моя, барышня М.А., бывшая старше меня не более как года на два, как по возрасту, так и по времени поступления в монастырь, видела во мне всегда свою конкурентку во всех отношениях; на клиросе мы стояли вместе, но в этом случае мне отдавали преимущество; в остальном мы еще не могли равняться, так как я была еще на «искусе» первого года, но все же она не питала ко мне дружественных отношений, чего я не могла не чувствовать. Мне было всесторонне трудно; враг, как бы пользуясь таким грустным состоянием души, наводил на меня еще иногда сильную тоску по матери, живо рисуя картину ее страданий и слез.

Я писала обо всем отцу архимандриту Лаврентию, но письма мои не доходили до него, ибо он в свою очередь писал мне, что не получает моих писем. Впрочем, Сам Бог не оставлял меня Своим непосредственным утешением и врачеванием.

Так, однажды, видела я следующий сон: иду я весьма трудной, зимней дорогой; то вязну я в сугробах снега, то скольжу по льду и падаю; то множество пешеходов и ездоков едва не давят меня, ибо дорога узкая, и по обеим ее сторонам овраги и пропасти; то откуда-то взявшийся скот рогатый идет прямо на меня и силится забодать меня; то, наконец, множество шалунов-мальчишек с неистовством напали на меня, стали меня щипать, толкать и силились свалить с дороги в пропасть. Я совсем выбилась из сил; как только они несколько послабили мне, я обернулась назад посмотреть, не лучше ли вернуться назад, потому что уже вовсе не могла продолжать путь, предполагая на нем те же препятствия и далее; но увидела, что пройдено было так уже много, что начала пути и не видно. Смотрю опять вперед, и вокруг меня уже никого нет, ни маль-

чишек, ни скота, и дорога гладкая, а близехонько впереди, на моей же дороге, как бы очертание дверных косяков, и в них отворенная дверь; все пространство в двери наполнено света, как бы сдерживаемого за ней; а у самой двери среди этого света стоит Сама Владычица, паче солнца сияющая, одной рукой держит скобку двери (как бы отворивши ее) и, обратясь лицом ко мне, говорит так ласково и весело, как бы мать родная плачущему ребенку: «*Иди, иди, ведь Я — Вратарница*». Я подошла к двери и за ней увидела большой (больше человеческого роста) Крест, весь из звезд составленный, и пала поклониться ему. Проснулась я в великой радости, обновленная духом.

ХIII

Я уже упоминала, что иногда нападала на меня и тоска по матери, которую я оставила в таких страданиях и слезах о разлуке со мной, теперь мне часто приходило это на мысль, что я считала вполне естественным и по родственно-близким нашим чувствам, и по стечению моих собственных нерадостных обстоятельств, как например: когда я, не быв удовлетворена суровой монастырской пищей, многое из которой и вовсе не могла употреблять, не имела возможности заменить ее для себя более легкой и лучшей, что нам не возбранялось, то мне невольно приходили на ум слова Евангельской притчи (хотя там смысл их совершенно иной) «колико наемником отца моего избывают хлебы, аз же гладом гибну»; или же считала это за наветы врага, всеми кознями старавшегося низложить меня, как и всякого, «приступающего работать Господеви», и, с помощью Божией, побеждала без большого труда все подобные искушения. Но вот сама мать моя, и ранее того мне писавшая письма, стала уговаривать

меня теперь возвратиться домой; она стращала меня тем, что никогда не будет мне ничем помогать, ничего посылать, даже и мое собственное удержит все для младших детей, чего она хотя и не могла бы сделать по закону, так как я не приняла еще пострижения; но ничто, никакие угрозы, ни соблазны не колебали нимало моей решимости терпеть всякие лишения, хотя бы и самую смерть. Когда же она написала мне, что я лишила ее своей помощи по отношению воспитания детей, а также и всесторонне, в ее уже преклонные лета, и что эта беспомощность ее сведет ее раньше времени в могилу, я стала подумывать о том, не погрешила ли я в этом действительно. Посоветоваться, поговорить мне было не с кем. Но вот как вразумил и успокоил меня Господь.

Видится мне в сновидении, что мы (сестры монастыря) несем (из церкви) на головах Плащаницу; вдруг, каким-то образом из несших осталась я одна и, с чрезвычайной трудностью от тяжести ноши, принесши Святую Плащаницу в свою келью, положила ее на стол, приготовленный среди кельи, а сама в изнеможении бросилась на койку. Вдруг приотворяется дверь из сеней в келью, и в отворенную щель выглядывает из сеней злой дух, то есть диавол; вид его скаредный, физиономия черная, на ней, как горящие угли, красные глаза; он заревел, как зверь разъяренный, но войти в келью не смел. Я встала с койки и, оградив себя крестным знамением, без всякого страха подошла к двери и сказала ему: «Здесь Святая Плащаница, — убирайся; здесь не место тебе!» Перекрестив дверь (он моментально исчез), я хотела запереть ее, но вдруг в нее входит моя мать, очень скучная, вся в слезах; она стала укорять меня в безжалостности к ней и роптать на судьбу свою, и сильно, сильно плакала. Мне стало жаль ее, и, я тоже заплакала. Обе мы с ней подошли к Плащанице, взглянув на

которую, я сказала: «Ну как же, мамочка, я оставлю теперь моего Спасителя, дорогого моего Мертвеца, умершего и за тебя, и за меня? Как мне перестать лобызать Его пречистые язвы, омывая их потоками и моих, и твоих слез? Нет, я ни за что не оставлю Его, не отойду от Него никогда! Лучше ты останься здесь со мной, и вместе будем лобызать их!» С этими словами я бросилась лобызать ножки Спасителя, обливая их горячими слезами любви, и тотчас проснулась. Из этого я поняла, что ни в каком случае не должна и мысли допускать оставить служение Господу ради матери; что Господь примет ее скорби и болезни сердца о мне, как благоприятную жертву ради Его, и не лишит ее Своей милости.

Да, я не могла не видеть, что Господь Сам руководит меня на пути жизни моей многотрудной и почти беспомощной духовно. Мне невольно приходили на память слова отца архимандрита Лаврентия, сказанные им мне при прощании: «Тебя как бы Сам Господь за руку ведет, Он вывел тебя из среды мира, поставил на пути служения Ему, Он и не оставит тебя». И не только сновидениями, но и простыми жизненными путями Господь давал мне явные вразумления. Вот, например, Он привел меня быть свидетельницей высокой, содержательной молитвы одной старицы.

Это случилось так. Был прекрасный летний вечер; после вечерни всегда следовал ужин сестрам, на который, впрочем, ходили весьма немногие в трапезу, а по большей части ужинали по кельям, особенно старицы. В эту пору моя старица, монахиня Глафира, послала меня за каким-то делом к другой очень престарелой старице, монахине Феоктисте, прибавив, что если я хочу, то могу на обратном пути и погулять. Подойдя к келье монахини Феоктисты, я, по обычаю иноческому, сотворила молитву Иисусову, ответа не последовало; думая, что монахиня

Феоктиста не слышит, я приотворила дверь чуть-чуть и повторила молитву уже довольно громко; ответа опять не получила. Тогда, предположив, что старица Феоктиста лежит за перегородкой, или ужинает одна, а что келейница ее ушла в трапезу, я решилась войти в келью и отворила дверь, уже в третий раз проговорив молитву; вступив за порог двери, я не могла двинуться далее, придя в благоговейное удивление от того, что увидела. Старица Феоктиста стояла в переднем углу на коленях с воздетыми руками; губы ее что-то шептали, слезы обливали все лицо и одежду; она то падала ниц и подолгу оставалась в таком положении, и только одни всхлипывания доказывали ее состояние, то снова, поднявшись, воздевала руки, и было видно, что она находилась вне всего окружающего ее, вне всего земного. Я чувствовала себя неловко, что, войдя, невольно сделалась свидетельницей тайны души престарелой подвижницы, но вышло это так случайно, или по Божию Промыслу, восхотевшему или дать мне урок молитвы, или же вразумить, показать мне это, вопреки случавшимся мне мыслям о том, что нет в обители нашей высоко духовной жизни стариц. Я продолжала стоять неподвижно на одном месте, боясь шевельнуться, чтобы не потревожить молившуюся, не смела и уйти, не исполнив поручения своей монахини, да мне и не хотелось уйти до конца этой высокой молитвы. Однако, более часа пришлось мне ждать, пока наконец монахиня Феоктиста, обтираясь платком и сморкаясь, стала подыматься с колен, но все еще взор ее был устремлен к висевшему перед ней лику Спасителя, в области Которого все еще витала душа ее. Чтобы не встревожить ее, не дать заметить, что я была свидетельницей ее молитвенного восторга, я сделала вид, что будто сейчас только вхожу, громко проговорив молитву Иисусову. «Аминь», — ответила она по обычаю иноческому, а сама поспешно ушла за переборку, быв-

шую недалеко от переднего угла, где она стояла; затем вышла оттуда, протирая глаза, как бы после сна, и, обратясь ко мне, сказала: «Вот Анна-то моя погулять выпросилась, а я и уснула, было; что, чай, уже ужин кончился?» «Кончился, матушка, уже более часа», — ответила я, едва сдерживая слезы, от всего виденного и теперь слышимого от смиренной подвижницы. Она вопросительно посмотрела на меня. «Да, ты, ласточка, давно уж пришла сюда?» — спросила она. «Нет, матушка, сейчас только вхожу», — успокаивала я ее. «Отчего же это у тебя слезки на глазах, или ты не скучаешь ли, ведь тебе, чай, трудненько, ласточка? Сядем-ка да поговорим по душе», — уговаривала меня добрая старица, усаживаясь со мной в тот самый угол, где только что молилась. «По душе», поистине «по душе» поговорили мы с ней, и я не посмела скрыть от нее, что была свидетельницей ее молитвы. Глубоко вздохнула она, но спокойно сказала: «Видно, так тебе Бог судил; но молю тебя: никому ни слова, ни даже твоей старице, пусть это будет твоя тайна». Мне и не пришлось никому говорить об этом, так как и старица моя, удовольствовавшись принесенным ей мной ответом, не спрашивала ни о чем более. Мне же самой принесло это обстоятельство много душевной пользы: я увидела, как молятся монахини, и сама стала ревновать о сем.

XIV

Между тем давно уже миновал первый год моей жизни в монастыре, а с ним миновал и искус мой в тяжелых, так называемых, «черных» работах, чему, по тогдашним правилам монастыря, все новоначальные, какого бы рода и воспитания они ни были, должны были подвергаться ради учения их монашескому самоотвержению в терпении и смирении. Около того времени в городе Тихвине не было ни одного женского

учебного заведения; некоторые из граждан обратились к матушке игумени с просьбой — поучить их детей в монастыре подготовительно для поступления в столичные учебные заведения, так как в монастыре из числа сестер были и окончившие курс наук. Матушке игумении пришло на мысль поручить это дело мне, как по всему мне подходящее. И вот вместо всякого другого «послушания» (кроме клиросного, которому я всю жизнь служу неизменно), я сделалась учительницей, причем образ жизни моей совершенно изменился к облегчению моему. Местом занятий наших была указана наибольшая комната настоятельских келий (зал), которая чрез гостиную была смежна с кабинетом матушки, которая в свою очередь интересовалась моими занятиями с детьми и нередко выходила слушать нас. Это обстоятельство само по себе сообщало мне много удовольствия, ибо я искренне любила и уважала матушку, почему быть хотя изредка в обществе ее для меня было утешительно. Притом же это давало мне возможность в случае какого-либо недоразумения спросить ее совета и указания.

С этого времени жизнь моя пошла следующим порядком: ежедневно я вставала к утрени, которая бывала у нас в 4 часа утра; после утрени редко когда пила чай до поздней Литургии, к которой, впрочем, не могла ходить, потому что к 9 часам собирались мои ученицы. После Литургии мне приносили чай на место занятий, продолжавшихся до 12 часов полудня, когда я уходила в трапезу, а дети оставались кушать свой привезенный с собой завтрак; затем от часа до двух я с ними гуляла, а потом снова занимались до четырех с половиной часов, после чего они уезжали, а я шла к вечерне и, по обычаю, стояла и «правило». Только к 8 часам вечера я возвращалась в келью.

Одна из учениц, А. Снеткова, была дочь очень богатого, первого коммерсанта в Тихвине; ее родители много жертвовали монастырю с тех пор, как дочь их стала учиться, следовательно, труды мои приносили обители значительную материальную пользу; меня это радовало, да и начальница, и старицы всегда оказывали мне благодарность и расположение. Никогда не забыть мне следующего случая. Однажды, 25 января, А. Снеткова, уезжая после урока, подала мне письмо от своего отца и сказала, что завтра она не будет учиться, а приедет с родителями поздравить меня с днем Ангела (26 января). Предполагая, что это же самое написано и в письме, я не прочитала его и, даже не распечатав, опустила в карман и пошла к вечерне. Придя в келью, я забыла о нем и только перед самым сном распечатала; каково же было мое удивление и испуг, когда, вместо письма, я нашла двадцатипятирублевую бумажку. В уме моем тотчас блеснула мысль: «Это не честно; я учу «за послушание», то есть по обязанности, а мне дают деньги»; в смущении я даже забыла, что завтра день моих именин, так что это имело не иной смысл, как только подарка. Мне стало очень совестно и неловко, поутру я поспешно ушла к утрени, намереваясь все передать матушке игумении, которая почти всегда приходила к началу. Место игуменское стояло подле правого клироса, певчих же не было еще никого, так что я беспрепятственно рассказала ей все и передала конверт. Матушка, как сама добрая, и во мне усмотрела чрез этот поступок много хорошего и честного, как сама она мне высказала, а потом говорила и старицам; деньги приказала мне безусловно взять в мою собственность. Когда приехали Снетковы поздравить меня, она рассказала и им о случившемся и благодарила их за меня.

Однако враг, не терпящий мира и спокойствия между людьми, не замедлил и тут своими кознями; он научил послушав-

ших его людей взвести против меня сильные клеветы, вследствие которых я, как безвинно страдавшая, совершенно пала духом, а другие пришли в сильное смущение. Целый месяц, однако, длилось это недоразумение и скорбь, подробностей чего я не нахожу нужным описывать; но наконец дело выяснилось: моя неповинность восторжествовала вполне, клеветники уличены и постыжены. Упоминаю здесь об этом лишь с целью сообщить и еще о путях промысла Божия, дивно вразумляющего и подкрепляющего работающих Ему от чистого сердца.

Во время этой восставшей на меня бури, я сильно падала духом; не только самая клевета и скорбь подавляли меня (против этого я имела еще врачество, сознание, что без сего не обойтись желающему идти крестным путем), но меня сильно смущала мысль, отчего начальники духовные так недалезорки, что не могут отличить правду от лжи, отчего так скоро они склоняются попить то, перед чем так еще не задолго они сами умилялись и к чему относились с уважением. Я задалась вопросом: «Где же искать правды, если ее нет в представителях ее?» Горе мое было так велико, что подавляло во мне всякое рассуждение и даже здравое сознание того, что и начальники наши — такие же люди, и прозорливства, присущего святым, мы не имеем права от них требовать.

Не скрою и того, что от сильного смущения я потеряла даже усердие к молитве. Когда в келье я становилась в своем уголке для совершения ее, то происходило со мной одно из двух: или, осенив себя крестным знамением, я в сильных рыданиях падала ниц, и тогда состояние души моей походило не на молитвенное, а на какое-то подавленное; или же, иногда, сряду восставал передо мной вопрос: «Где же правда, где защита невинных, где внимающие их слезам?» И чтобы не

дать воли таким расстроенным мыслям, я скорее ложилась спать. Но спалось ли мне? И так прошел целый месяц, если не более.

Но вот наконец миновала буря: возвратилась мне всеобщая ласка, любовь, сочувствие, все познали, что гнали меня напрасно, что одна злая зависть хотела погубить меня и т.д. Но душа моя, глубоко потрясенная, не могла успокоиться. Вместо прежней моей общительности, простоты, веселости, я стала недоверчивой, печальной, подозрительной. Я не могла не сознавать, на опыте то изведав, что эта любовь и ласки так же скоро могут смениться злобой и ядовитыми насмешками, как скоро сменяются час за часом. Одним словом, мое прежнее состояние духа не возвращалось ко мне; я даже с пренебрежением удалялась от них, а в душе продолжала томиться, мысленно спрашивая себя: «Если нет в монастыре искренней любви, этой основы не только иночества, но и христианства, то, значит, нет и спасения, а если нет сего, то для чего же мы живем здесь». Однажды в таких мыслях я уснула.

Видится мне, что я вхожу с южной стороны в какую-то небольшую церковь или часовню (не знаю). Посреди, как бы обратясь к иконостасу, или чему-то вроде того, стоят трое, равные и ростом, и одеждой, и по всему одинаковые (не знаю, как их назвать); имеют они подобие людей, только головы их как бы в тумане, я их почти не вижу. Кроме меня и их, никого нет, — церковь пуста. Меня заинтересовали эти существа, и я довольно смело стала подходить к ним то с той, то с другой стороны, стараясь рассмотреть, кто они. Когда подошла справа, то стоявший с этой стороны обратился ко мне с вопросом: «Какой это монастырь?» Я отвечала: «Введенский». Он снова спросил: «А сколько лет ты здесь живешь?» Я ответила: «Три года». На это Он говорит мне: «Три года ты живешь в монас-

тыре, а не знаешь, какое имя твоему монастырю». Я стала оправдываться и утверждать, что хорошо знаю, что имя моему монастырю «Введенский». Тогда Он подозвал меня поближе к себе и продолжал: «Если ты не знаешь, какое имя этому монастырю, то я скажу тебе: он — Крестокрещенский». Я и тут противоречила Ему, продолжая спорить, и даже возразила, что «и слова-то такого (крестокрещенский) нет».

В это время я увидела главу Его, как главу Спасителя, как она пишется на иконах; в левой руке Своей Он держал огромный деревянный крест, на который Он как бы опирался, а правой рукой Он слегка касался моего плеча и, ударяя ей по плечу, продолжал: «Говорю тебе, — Крестокрещенский; не понимаешь, — так слушай, Я объясню тебе: как христианский младенец крещается водой и Духом, иначе не может быть христианином, так и младенец-монах крещается крестом, — иначе не может быть монахом. — Разумеешь ли теперь?» — прибавил Он. Я (уже и во время речи Его) познала в Нем Господа и в умилении и радости воскликнула: «Так, Господи, разумею, что надо все терпеть ради Твоего Креста». Я проснулась в величайшей радости и умилении; плечо мое еще как бы ощущало на себе прикосновение ударявшей его слегка руки. Я совершенно обновилась духом, и все мрачное настроение мое исчезло, как небывалое.

Таким образом, как бы под непосредственным покровом Божиим, протекали первые годы моей жизни в монастыре. По заповеди моего духовного отца архимандрита Лаврентия пребывать безысходно в обители в течение трех лет, я никуда не отлучалась, не только куда-либо подальше, но и за ворота на улицу.

Хотя монастырь наш был в городе, но мы не имели о нем понятия; по тогдашним правилам и порядкам монастырским,

была одна выбранная старица, которая и ходила в город по всем монастырским делам: она ездила на почту, в лавки, в магазины, и все, кому что нужно было купить, обращались к ней. Она же была и привратница монастыря, келья ее была у самых святых ворот, и на ее обязанности лежало следить, чтобы не было самовольных отлучек в город. На противоположной стороне «большой» дороги, против самых святых ворот, была наша часовенка, на крыльце которой безотлучно сидела старица (или ее помощница), на ответственности которой, между прочим, тоже лежало наблюдение за выходом сестер из святых ворот. Остальные же ворота в других сторонах ограды были всегда заперты, отворяясь лишь в исключительных случаях.

Упоминаю я здесь об этом для того только, чтобы напомнить, какие строгие порядки и уставы существовали в монастырях еще и в наше время, не говоря о старине. То ли встречаем мы ныне? Что же касается лично меня, то я не могу достоверно сказать: вследствие ли этого правила я никогда и не думала об отлучках из обители, как о недоступном, или же мне и самой никогда не приходило ни желания, ни нужды.

XV

Четвертый год моего пребывания в монастыре подходил к концу. В феврале месяце я получила (последнее) письмо от матери, в котором она убедительно звала меня домой на побывку, извещая о своей тяжелой болезни: «В случае моей смерти, — писала она, — на кого останется малолетняя сестра твоя, не говоря уже о доме, хозяйстве и всей усадьбе». Эти последние слова порешили мое колебание, побуждавшее меня ехать и, может быть, навсегда проститься с матерью. Эти слова ясно сказали мне, что последняя, пред-

смертная просьба ко мне матери будет: «Останься, займись хозяйством и сиротами, ради них не дай погибнуть усадьбе в чужих руках». А в силах ли я буду устоять против такой предсмертной материнской просьбы?

Не могу высказать, что происходило в душе моей. Я искала, с кем бы посоветоваться, но сердце мне подсказывало: «Лучше не спрашивай, — всякий скажет: «поезжай». Никому не известны твои взгляды, чувства, наконец, домашние обстоятельства, всякий будет судить поверхностно». Итак, не говоря никому о содержании полученного письма, я понесла его к матушке игумении, прося ее указания. К величайшему моему удивлению и прискорбию, она отклонила от себя ответ, сказав: «Я не берусь тут советовать, делайте, как знаете». Предоставленная собственному своему произволу, я попросилась у матушки игумении сходить к чудотворной иконе Тихвинской Богоматери в «Большой» монастырь, где со слезами изливала свою душу пред чудным ликом Пресвятой Девы, умоляя Ее принять на Свои руки все наше дело и внушить мне поступить так, как полезнее для души, а не для временной жизни. Затем, как бы несколько успокоившись, предавшись на волю и промышление Царицы Небесной, я все собиралась ответить матери своей письмом, но, зная, что отказ мой приехать огорчит ее, я мешкала писать, а время проходило. Вдруг 19 марта получаю телеграмму о том, что «мать моя скончалась» 17 марта, и что присутствие мое необходимо. Единственное, что вливало в сердце мое спокойствие, — это то, что она скончалась именно 17 марта, в день памяти преподобного Алексия, человека Божия, память которого она особенно чтит, почитая его особенной милостыней, устраивая обеды для нищих, которых она всегда очень любила и часто кормила. На вопрос

мой, отчего именно этот день между прочими она избрала для таких обедов, она отвечала мне: «Сама не знаю, я очень люблю этого угодника Божия, особенно с того времени, как ты решилась оставить меня, уйти в монастырь, я все думаю: не выдержать тебе суровой монастырской жизни, вернешься ты и поселишься где-нибудь в шалашике, как он, а я и знать не буду». Дело о моей поездке было решено, несмотря на то, что дорога была самая ужасная.

То, что нашла я в усадьбе после только что совершившихся похорон моей матери, действительно, превзошло всякое мое ожидание: малолетней сестры моей, Клавдии, единственной хозяйки дома, не было, ее взяли к себе соседние помещицы Бутеневы, так как оставить ее в усадьбе на руки прислуги и оставшегося еще управляющего И. Лар. не было возможности. Вещи, даже мебель, были растасканы, в доме полный хаос, опустошение, опекуна не было; духовное завещание, хотя и существовало, но, не будучи подписано надлежащим порядком, не имело законной силы. Очевидно было, что со смерти хозяйки, всякий заботился сам о себе. Камнем легло мне на сердце сознание или, вернее сказать, предположение, что всему этому причиной я. Но все же я еще не решительно обвиняла себя в этом, пока не предоставлю все на суд и осуждение более меня опытного духовного лица, которое и надеялась скоро встретить в лице отца архимандрита Лаврентия.

Справив на кладбище поминовение в девятый день, где я увиделась со всеми родными и знакомыми, мы возвратились в полуопустелый дом, бывший так недавно еще «полной чашей», и предались сильнейшей скорби (разумею здесь нас троих, сирот: себя, сестру двенадцати лет и брата, приехавшего на то время из корпуса). Сестра, одна свидетельница

кончины незабвенной матери, рассказала нам все подробности ее последних минут. В день своей кончины она заранее заказала обедню в своем селе, Поросе, так как это был день 17 марта — день преподобного Алексия человека Божия, столь любимого ею, конечно, не предполагая, что за этой обедней в первый раз помянется имя ее «за упокой». Не изменила она и обычая своего кормить нищих в этот день, заменив лишь обед рассылкой нарочито для сего испеченных хлебцев, которые неизменная наша старушка Марфа в ночь на семнадцатое разносила по избам бедных крестьян.

Когда ударили в колокол к обедне, о чем кто-то из домашних, находясь на улице и услышав, пришел возвестить ей: «К нашей обеденьке звонят», она, накануне напутствованная Святыми Тайнами, перекрестилась, сказав: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». Прошло не более получаса, она совершенно мирно испустила дух.

Детей своих, то есть нас всех, она благословила еще накануне, после причащения Святых Тайн, в присутствии священника. Он подвел к ней плачущую до бессознания сестру Клавдию, и она крепко прижала ее к груди своей, с любовью целовала и благословляла той самой иконой Тихвинской Божией Матери, которую незадолго перед сим, по просьбе ее, я прислала ей из Тихвина из Большого монастыря, где при чудотворной иконе ее и освятили. Брата Константина благословила заочно образом Спасителя в серебряной ризе. Когда же ей напомнили обо мне, она тяжело вздохнула и, прослезившись, сказала: «Я давно уже благословила ее, да почивает на ней благословение Божие; скорбела я за нее, — но да простит нам Господь. Я надеюсь, что она вечная за нас молитвенница, ее Царица Небесная избрала Себе». Все время до последней минуты она находилась в твердом сознании,

как и обычно умирающие такой длительной чахоткой, как умирала она.

Оправившись несколько после первых впечатлений, мне надлежало озаботиться о дальнейшем устройстве наших дел. Проводив брата обратно в корпус, я прежде всего занялась устройством дел по дому и усадьбе; назначили опекуна, которому я все сдала по описи, дом (господский) запечатали, так как жить в нем пока было некому, а сестру отвезла к помянутым соседним помещикам, сама же поехала в Петербург хлопотать о сиротах, о назначении им пенсии и о принятии их на казенный счет в училища. Определить сестру в более высшее учебное заведение мне было весьма трудно, так как она оказалась вовсе неподготовленной, а лет ей уже было двенадцать. По пути со станции я, конечно, заехала к отцу архимандриту Лаврентию, к которому так рвалась моя душа, чтобы поделиться с ним всем пережитым мной в течение около пяти лет монастырской жизни, а равно и для того, чтобы не без совета его начать дальнейшие распоряжения относительно родительского имения и сирот. Я не ошиблась в надежде найти в нем отца и советника во всем. Он благословил меня принять на себя все хлопоты по устройству детей, особенно сестры, сказав, что этим я исполню волю покойной матери.

Отдохнув у него в Ивере и душой, и телом, приобщившись Святых Тайн, я отправилась в Петербург хлопотать. Все мне удалось: брата приняли на казенный счет, вместо своекоштного, а сестру зачислили кандидаткой (тоже казеннокоштной) в наш же Павловский институт с тем лишь условием, если она выдержит экзамен для поступления в шестой класс, так как для младшего, седьмого, она вышла из лет.

Это условие являлось трудной задачей для меня. Конечно, можно было нанять гувернантку для приготовления сестры, но

надежды на успех представлялось не много, потому что требовалось много усидчивого самоотверженного труда, чтобы достигнуть цели — подготовить для сдачи экзаменов. Я порешила остаться сама на все лето и заняться обучением сестры. Сколько за это время я перенесла всякого рода скорбей и нравственного труда, знает только моя душа, а описывать это не вижу нужды.

Пять месяцев пробыла я в миру, от 21 марта до конца августа, наконец, с Божией помощью, определила сестру в институт, и, побывав еще раз в Ивере, наконец вернулась в свою дорогую обитель.

XVI

Один из существеннейших вопросов для всякого живущего в обители — вопрос о келье, то есть о комнате, в которой кто живет. В некоторых монастырях почти все кельи «собственные», то есть откупленные на всю жизнь владелице, причем и ремонт, и поддержка кельи — все уже лежит на ее заботе, и она живет в ней полной хозяйкой, берет себе келейницу, то есть послушницу для услуги, по своему усмотрению и выбору. Те же, которые не имеют средств «купить келью», живут в общих помещениях, т. е. где и с кем придется. В Тихвинском монастыре, хотя и не исключительно, но существовал такой порядок, с той только разницей, что кельи продавались в «собственность» только или уже пожившим в монастыре и испытанным известным искусом, или же, если и вновь вступающим, то лицам более зрелого возраста. Поступая в монастырь, я не смела и думать просить себе келью; теперь же, возвращаясь, с благословения отца архимандрита Лаврентия я решилась непременно просить келью, предложив за нее и деньги. Когда я говорила об этом с батюшкой, то он сказал замечательное слово, которое не лишним счи-

таю привести здесь: «В толпе, в молве могут жить люди или уже совершенные, всегда сосредоточенные во внутренней клетке сердца своего, или же люди пустые, не знающие цены уединению». Когда, приехав, я стала просить матушку дать мне келью, предлагая за нее и деньги, то она объявила мне, что и сама хотела предложить мне келью в новом, только что этим летом выстроенном корпусе, но только без платы, так как лес на весь этот корпус пожертвован лесопромышленником Снетковым, которого дочь я приготавлила в пансион, и который сам просил, чтобы в этом доме была келья и для меня. Эта келья была во втором, то есть в верхнем, этаже, угловая, выходившая окнами на восток и на юг. Несказанно обрадовалась я такому счастью и готовилась перейти туда с какой-либо старицей, которой, как я думала, поручат меня, как еще молодую послушницу, ибо мне было лишь двадцать шесть лет. Каково же было мое удивление, когда, вместо старицы, мне назначили келейницу-послушницу и еще одну вновь поступившую молоденькую четырнадцатилетнюю девушку из Санкт-Петербурга, дочь смотрителя Охтенского кладбища Любовь Колесникову. Обе они поместились в одной передней келье, а я одна — во второй. Келейница наша целый день проводила на «послушаниях» (то есть на казенных работах, общественных, по назначению), а мы с Любой, как обе клиросные, ежедневно ходили ко всякой службе, а в течение дня каждая в своей келье сидели за рукоделием. Я твердо решила, с помощью Божией, заняться обучением себя внутренней молитве и самовниманию; и теперь, когда ничто не отвлекало меня, ни дела, ни даже лишние люди, я вся предалась своему делу.

Переписываться с моим духовным отцом и руководителем отцом Лаврентием мне было вполне удобно, так как письма

могла отправлять непосредственно на почту, что мне было дозволено, и я нередко получала от него письма. Счастливейшее и лучшее время изо всей жизни моей было это время. Ему я обязана всем, если что-нибудь приобрела для своего внутреннего человека. Настолько спокойно и тихо внутренне жилось мне, что я не смела верить в возможность продолжительности такого состояния, не «крестной», по общему понятию о монашеской жизни, представлялась она мне, а «райской», насколько доступен рай на земле; я на опыте извела силу слов Христовых: «Царствие Божие внутрь вас есть». О молитве Иисусовой, то есть о внутреннем непрестанном призывании имени Иисуса Христа, писал мне отец Лаврентий: «Молитва Иисусова, это бесценное достояние истинных монахов, в привыкшем к ней сердце делается как бы занозой, беспрестанно напоминающей о себе и ноющей, когда нет ей Сладчайшего Имени! Ревнуй о внутренней молитве,— в ней вкусишь счастье, блаженство среди невзгод и всех напастей!» По его совету я начала заниматься изучением наизусть канонov: покаянного, молебного Богоматери, не употребляемых в числе «монашеских правил», так как эти последние я, от навыка, давно уже затвердила, благодаря хорошей памяти. В этой келейке я впервые сподобилась вкусить во время молитвы нечто подобное тому, как видела у матери Феоктисты, подробности о чем, впрочем, умолчу.

В этой келейке я имела возможность целыми ночами сидеть за чтением священных книг, запершись в ней, чтобы огонь не мешал другим. Наконец, в ней получила я возможность возобновить обычай матери моей, ею мне указанный в пример возможного подражания,— кормить нищих, что, впрочем, делала с осторожностью, боясь возбудить ропот соседок; впрочем, ближайшая соседка моя, жившая на одних

со мной сеньях, сочувственно относилась к этому и хранила нашу тайну. Она сама была благородная старушка М. Гордеева. Да и не часто позволяла я себе это утешение: нищие старушки разговлялись у меня лишь в Рождество Христово и в день Успения Богоматери. День же Алексия, человека Божия, я помнила иным способом милостыни, что сделалось для меня еще доступнее, когда я получила наконец наследственно отказанные мне дедом моим деньги, заимообразно данные им под векселя г-же Максимович. Г-жа Максимович тоже умерла, и долгов у нее оказалось немало, почему учреждено было конкурсное правление, назначившее в продажу ее имущества и земли, находившиеся в разных уездах Новгородской и Тверской губерний.

Деньги я получила не все, а только самую сумму долга 2750 рублей, проценты же, которых тоже немало насчитывалось, мне обещали уплатить после следующих торгов и продаж имений ее, но я больше не заявляла и не хлопотала, а так как мне более не высылали, то я и не гналась за большим.

Так проходило время, и я уже несколько лет жила в своей бесценной для меня келейке. В первый же год моего водворения меня покрыли рясофором, то есть постригли в малый постриг, который, в сущности, не считался пострижением и назывался «малым». В те времена еще не было запрещения переменять имена в рясофоре, и меня назвали именем Аркадии, так как незадолго умерла у нас свечница Аркадия, и имя это хотели возобновить.

Приняв хотя и малое пострижение, я, конечно, озаботилась в душе о том, как бы сделаться достойнее для ношения иноческой одежды и даже камилавки, которую возложили на мою голову. Принять на себя какой-либо более трудный подвиг я не смела без благословения, да и наученная отцом

архимандритом Лаврентием не налагать их своевольно, я не предпринимала ничего, кроме вышеприведенного образа жизни, в самообучении внутренней молитве и самовниманию. Милосердный Господь, никогда не оставлявший меня без вразумления во всех более серьезных обстоятельствах моей жизни, и тут не замедлил явить мне Свой о мне Промысл следующим образом.

Видится мне во сне, что я с другими нашими сестрами иду по дороге где-то в поле на открытом месте. Идем мы все по двое, парами, в полной монашеской одежде. Вдруг я увидела идущих поперек поля и направляющихся прямо к нам (сбоку) двух человек. По виду их, — один был монах, в мантии и камилавке, креп которой (то есть наметка) был спущен у него на лицо; в руках он держал постригательный крест, как новопостриженный; другой — подобен нищему, шел возле монаха в разодранной белой рубахе, с всклокоченными волосами; как юродивый, он подпрыгивал и ел кусок белого хлеба, который держал в руках. Подходя ближе ко мне, он как бы поддразнивал нас своим куском и все подпрыгивал, улыбаясь. Монах же шел молча с опущенными вниз глазами и, казалось, весь был углублен в себя. Я обратила на них все свое внимание, а когда огляделась, товарки мои все куда-то исчезли, и я стояла на дороге одна. Между тем явившиеся подошли и пошли подле меня. Юродивый пристально и зорко смотрел на меня, сначала молча, а потом сказал: «Что задумалась? — Неси свой крест, как брат Иоанн, а посмотри-ка на меня, как беззаботно и весело я поскакиваю, сная свой кусочек. Так и ты, поскакивай, да поскакивай своей дорожкой, пусть люди смеются, — ничего! Скачи себе, как Симеон юродивый, скачи, — вот уже недалеко и церковь!» С этими

словами он действительно вскочил в двери церкви, к которой мы незаметно подошли, за ним тихо вошел и Иоанн. Я проснулась. Истолковала я себе этот сон так: не надобно ухитряться изыскивать себе пути спасения, а в простоте сердца идти путем, указанным Промыслом Божиим, не обращая внимания, не останавливаясь сторонними насмешками и молвой, нести свой монашеский крест.

В последующей жизни моей я не могла не подметить в себе как бы оттенок юродства; по мере сближения моего и столкновения с людьми, я не могла не сознавать, что не умею жить и даже держать себя среди них. Это замечают и все, кто меня знает ближе. Крест ненависти и зависти ко мне людской есть спутник всей моей уже и теперь долголетней жизни; но, думаю, он доведет до могилы меня, то есть будет неизменным моим спутником. О, зато он станет над моей могилой не только, как обычное украшение христианских могил, но и как символ крестоношения погребенной под ним, как неотъемлемая принадлежность моя.

XVII

Мирно и тихо протекала жизнь моя в этой келье, и уже близился к концу шестой год моего в ней пребывания. Мне не верилось в возможность продолжительности такой тихой, безмятежной жизни; вот-вот, думаю, стряется какая-либо беда; ведь по русской пословице, — «затишье перед бурей бывает». Или, думаю еще, что Господь Своими непостижимыми судьбами Промышления о нас дает мне это время для нравственного отдохновения и приготовления к предстоящей мне, может быть, тяжелой жизни, исполненной многих скорбей.

И я не ошиблась, предчувствие не обмануло меня. Мне уже готовилось и, так сказать, готовилось на глазах моих,

сильное искушение: я не только лишилась своей келейки, лишилась и обители Введенской, чего никогда бы не могла ожидать; искушение это превратило всю мою жизнь, как во внешнем, так и во внутреннем ее строе.

Но такова была воля Божия. Видно, путем скорбей проводятся великие дела Промысла Божия. *«Бог в тяжестех Его знаем есть»*. Но для нашего близорукого ума, для нашего малодушия как тяжки и безвыходны кажутся наши скорби! Мы не умеем, да и не хотим в безропотном повиновении усматривать в них великие цели Промысла. Я уже упоминала, что при переходе моем в келью матушка игумения поручила мне вновь вступившую девочку, дочь смотрителя Санкт-Петербургского Малоохтенского кладбища, Любовь Колесникову.

Колесниковы были люди состоятельные и набожные. Мачеха Любушки (отец ее был женат на второй) нередко приезжала к Любушке и, конечно, останавливалась всегда у нас. Она часто вспоминала, что муж ее, уже престарелый, очень желает и сам поступить в монастырь, к чему и ее склоняет. Однажды меня позвали к матушке игумении, которая и говорит мне: «Вот Любушкина мать (Авдотья Игнатьевна) желает поступить в монастырь, так как и отец Любушки поступает тоже в Реконскую Пустынь (в сорока верстах от Тихвина), она желает занять именно вашу келью, в которой вы живете, и вносит за нее вкладу 800 рублей; что вы на это скажете?» Такая неожиданность привела меня в совершенное замешательство; я молчала. Она повторила свои слова, прибавив, что 800 р. — «кусочек» для монастыря. Видя, что ей угодно, чтобы я освободила келью для вновь вступающей женщины, я не нашла другого ответа, как сказать: «Благословите, я уйду из кельи, но куда мне перейти?» Я знала, что кроме одной, в нижнем этаже большого каменного кор-

пуса, кельи, не было ни одной свободной, но не предполагала, что матушка игуменья решилась предложить мне ее, так как она была чрезмерно сырая, в нее ежегодно весной подходила вода, а так как она была внизу и почти в углу, то сырость там была постоянная. Каково же было мое удивление и обида, когда именно на эту келью указала мне матушка игуменья! Я едва устояла на ногах и поспешила удалиться. Все бросилось мне на ум: «Не сама ли она говорила мне, что так дорожит моими трудами? Не она ли сообщила мне, что строившие этот корпус Снетковы просили ее дать мне в нем келью? Не она ли сама не брала с меня неоднократно предлагаемых ей денег и в виде взноса, и за келью? Да не тысячи ли платились ей за мои труды, когда я занималась с детьми, и деньгами, и мукой, и другими предметами хозяйства, и лесом, и всем! — Где правда? Где человеколюбие? — Посылать в такую сырую, чуть не в подвальную келью девицу нежного, благородного воспитания!» — Такие и подобные мысли буквально физически закружили мне голову; я едва дошла до садика, разведенного против нашего дома, невольно взглянув на отворенное окно моей келейки, не могла идти далее и упала на скамейке в саду. Когда, несколько оправившись, я поднялась в свою келейку, то, сряду же бросившись перед иконами, воскликнула со слезами: «Прощай, мое родное гнездышко, мое училище духовное, мой раек на земле, местечко первого опыта моих монашеских подвигов и молитв! Какой уголок приютит теперь мое наболелое сердце?» Мне казалось, что с лишением этой кельи, я лишилась приюта и ласки всей обители. Молва о переводе меня в другую келью из-за 800 рублей Авдотьи Игнатьевны, новой и еще неизвестной обители женщины, произвела всеобщий ропот, что было безызвестно и матушке. Я же стала спешить пе-

ребираться, чтобы скорей покончить это грустное для меня дело. К удивлению моему, Люба моя не осталась в моей келье с мачехой, она перешла со мной; осталась же с ней наша келейная, а, вместо нее, нам дали еще молодую девушку, деревенскую, отец которой, вдовец, принял на себя ради Бога жизнь странническую, или юродивую, а ее определил в монастырь.

Новое мое помещение состояло тоже из двух отделений: первое — совершенно темное, а второе — в два окна, но окна эти были маленькие, квадратные, выходили они прямо к забору сада (казенного), и для моих занятий вышивкой и другими рукоделиями, особенно при моем (от природы почти) слабом зрении, это было весьма неудобно. Вся стена под этими окнами от одного угла и до другого, а также и самые углы на целый аршин были покрыты плесенью, никогда не уменьшавшейся. Мы пробовали обсушить ее, накаливая кирпичи и поставляя их к стенам и в углы, но это производило только прель и большую сырость. Тяжелый, нетерпимый воздух производил постоянную головную боль. Уединяться для своих духовных занятий, к которым я так привыкла в прежней келье, не могла я, кроме как ночью, так как послушницы мои только спать могли в первой темной келье, а когда чем-нибудь занимались, то им необходим был свет. Переход наш в нее был к осени, в сентябре месяце, на самое тяжелое, сырое и темное время. Не прожила я, а промаялась всю зиму и ждала еще худшего, ждала прихода воды весенней, по обычаю почти ежегодно посещавшей и наполнявшей всю келью на аршин высоты и более, причем, конечно, жительницам со всем своим келейным скарбом приходилось выбираться куда-нибудь в чужую келью, где пустят «утопленниц», как у нас смеялись сестры друг над другом шутя. На мое счастье, в этот год была не велика вода и пришла только под келью (причем

все же дала себя знать), но все же не в келью. (Впоследствии это зло было уничтожено проведением подземных труб).

Наступила Святая Пасха. По обычаю своему я пригласила и дорогих гостей моих — нищих старушек, как и всегда, двадцать числом. В конце Литургии собрались они, пока еще все в церкви, чтобы избежать лишней молвы (уходили же они от меня в то время, когда все сестры, разговевшись, вероятно, ложились отдыхать); здесь я поимела более осторожности, так как соседи мои были для меня лица новые и не знали о моем обычае.

Когда я пришла домой, то, как и всегда, не раздеваясь, в полной монашеской одежде стала служить своим дорогим гостям, в лице которых видела Господа, сказавшего: «Елика сотвористе единому сих меньших, Мне сотвористе».

Я, с помощью Любушки, подавала им чай, кофе и все разговенье, что было приготовлено, и внутренне радовалась этому; Аннушка же наша в темненькой комнате наливала и приготавливала. Вдруг все мы были испуганы слышавшимся у самых дверей наших бряцанием железа. Не успели мы и опомниться, как дверь растворилась, и в нее вошли трое мужчин: два солдата ввели под руки крестьянина со связанными цепями руками, и все остановились у порога. В ту же минуту Аннушка бросилась к ногам связанного и, зарыдав, вскрикнула: «Тятенька!» Солдаты объяснили мне, что этот «связанный» — духовный преступник, посажен в острог за духовные проступки, и что он попросился на Христов День к дочке, которая будто бы здесь; если можно, то они оставят его на весь день, а если нет, то сейчас же уведут обратно. Я тотчас же послала Аннушку спросить на это благословение у матушки игумении, которое и последовало. Солдаты, которых мы тоже напоили чаем и угостили, чем пришлось, сняли

с Петра (так звали отца Анны) железные обручи и оставили его на мою поруку до вечера, когда хотели опять прийти за ним. По удалении солдат, мы ввели Петра в другую келью и предложили поместиться с гостями. «Мир вам, и я к вам», — сказал он, садясь, но говорить много не стал, а почти все время плакал и крестился. Гости откушали и, получив, что им было приготовлено, пошли со слезами благодарности. Когда Петр остался с нами один, а мы сели на место ушедших и стали разговляться сами, он встал и, обратясь к иконам, пропел три раза: «Христос Воскресе». Слезы ручьем катились по его исхудалому и бледному лицу; мы, так всегда податливые к слезам, конечно, не уступили ему в этом, но как-то торжественно радостны были эти слезы. Затем я предложила ему лечь отдохнуть, на что он возразил мне: «Это, спать-то, о, выплюсь, Бог даст, еще в остроге, на досуге; а разве я здесь не отдыхаю?» Когда я стала уходить в трапезу обедать, оставляя Петра с его дочерью отобедать в келье, я подумала: «Не убежал бы он, вот хлопот-то наделает». Вдруг Петр, обратясь ко мне, сказал: «Не беспокойся, матушка, не убегу, не уйду, с места не сойду! Не наделаю тебе горя, у тебя и так его немало!» Весь день провел у нас Петр; хотя в тоне речи его и движений и был оттенок юродства, но говорил он все так дельно, умно и высоко духовно, что нельзя было не убедиться, что он добровольно попадает в острог, и на самом деле — великий подвижник. Вечером, прощаясь с нами, он горько плакал, говоря, что уже более не увидится со мной; на вопрос мой, отчего он так думает, он отвечал: «Тебя, матушка, далеко уведут, высоко поставят, великие дела тебе Бог поручает!» Я, конечно, пренебрегла эти слова, но теперь они часто припоминаются мне. Много у Бога сокровенных рабов, и различными путями идут они.

Зима, проведенная мной в такой сырой келье, положила навсегда следы на мое здоровье. С наступлением более теплых дней, когда стало возможным выходить на свежий воздух, я большую часть дня стала проводить на крылечке, и сравнительно хотя немножко мне полегчало. Когда случалось мне встречаться с матушкой игуменией, она всегда предлагала мне, между прочим, вопрос: «Как поживаете», как бы желая приласкать меня; но вопрос этот, вместо всякого ответа, вызывал невольно слезы, выступавшие на глазах. Она и сама, видимо, раскаивалась в своем поступке, но делать уже было нечего, приходилось ждать, не освободится ли келья иная, но таковой не оказывалось.

На 26 июня, день Тихвинской иконы Богоматери, когда тысячи богомольцев приходят на поклонение Владычице, приехала из Иверского монастыря живущая там за оградой, с разрешения митрополита Исидора, старица дворянка В. А. Теглева, которую я очень хорошо знала, познакомившись с ней еще с первой побывки моей у отца архимандрита Лаврентия. Глубокая преданность ее и уважение к святому старцу прикрепили ее к Иверу, где она проводила строгую монашескую жизнь, неопустительно посещала все монастырские богослужения, кроме сего, служила святому старцу архимандриту Лаврентию и средствами, и всем, чем могла. Я уже упоминала, что отец Лаврентий никогда не имел денег, которые и считал не своими, когда получал свою настоятельскую долю от монастыря, а общими с бедняками, коим всегда все и раздавал. Когда же, под старость, недуги его осложнялись, силы изменяли и требовали подкрепления более легкой и не столь суровой пищей, как братская трапеза, он не имел на это средств, равно как не имел решимости обременять кого-либо своими немощами. Вот тут-то В. А. Теглева и оказалась для него благодетельницей: она в своем

доме, со своими служанками приготавливала ему кушанья, за которыми оставалось только придти его келейнику, сама навещала его и служила ему от всего усердия. Прибыв в Тихвин, она остановилась, по знакомству, у меня, но какой ужас произвела на нее моя келья, с вечно заплесневшей наружной стеной и черными от сырости углами! Переночевав лишь одну ночь, она поспешила выбраться в гостиницу мужского, так называемого, «Большого» монастыря, несмотря на многолюдство по случаю праздника. Оттуда она ежедневно навещала меня и очень жалела меня, зная, как пагубно влияла на здоровье эта сырость. Возвратившись в Ивер, она обо всем рассказала отцу Лаврентию, который категорически написал мне, что если к осени не переменят мне келью, то это будет благословной причиной переменить самый монастырь, а рисковать так здоровьем нет никакой необходимости и даже грешно: «Все, — писал он, — надо в меру и с рассуждением». Но вот наступил и сентябрь, затхлый, душливый воздух сделался постоянной моей атмосферой, а исхода не предвиделось; я снова стала похварывать, лишилась способности петь на клиросе, читать и канонаршить, и мне жаль было клироса, да и клирос жалел меня, как одну из первых своих певиц. Все старицы и сестры жалели меня, видя, как я изменилась по наружности; но они еще не знали, что происходило в душе моей, какая томительная борьба.

Уже четырнадцатый год моего пребывания в Тихвинском Введенском монастыре подходил к концу; эта обитель была колыбелью моей монашеской жизни; в ней протекли и самые лучшие, и самые горькие минуты моей жизни духовной; я настолько любила эту обитель, что мне казалось, что нигде, кроме нее, я не найду ни счастья, ни спасенья души; оставить же навсегда — мне было страшно и помыслить, тем более,

что я ни в каком более монастыре не бывала и намеченного места, где бы преклонить мне свою голову, я не имела. Положиться в этом случае на выбор и указание отца Лаврентия я, конечно, не сомневалась, но мысль, что где бы то ни было, а все же придется снова начинать привыкать к новой обители, к новым сестрам, новым порядкам и по всему быть как «новенькой», совершенно пугала меня. С другой же стороны, не смела и прослушать совет и благословение моего отца и духовного благодетеля, да и очень уже трудно было мне жить в сырости, тем более, что по всегдашней моей слабости зрения, я должна была заниматься рукоделием ли или чтением у самого окна, следовательно, у самой сырой стены. Душевные мои страдания, которых, конечно, никто не знал, были сильнее физических недугований; но время шло, наступил ноябрь, установился зимний путь, а я не трогалась с места, да, вероятно, и не достало бы у меня на то решимости, если бы не случилось следующее обстоятельство, положившее всему конец.

XVIII

В начале ноября месяца получены были матушкой игуменией бумаги из Новгородской Губернской Палаты (ныне упраздненной), по которым вызывали меня туда, по делу завещанного мне наследства, состоявшего в деньгах по векселям, о чем я уже упоминала, дедом моим — воспитателем моей матери. От игумении требовалось удостоверение в том, что я не состою в пострижении монашеском, а меня вызывали явиться лично. Матушка игумения, в силу благословной причины, не стала удерживать меня, отпустила в Новгород к монахине Евлогии, справлявшей обычно разные для всех поручения в городе, поручено было найти надежных по-

путчиков, с которыми мне бы ехать на лошадях до станции Чудово, 120 верст, а я стала собираться в путь. Сердце мое чувствовало, что собираюсь из родной обители навсегда, да, кажется, это чувствовалось и всеми, хотя все знали причину отъезда. Сестры и старицы, собравшиеся проводить меня, особенно любившие меня старицы, монахини Варсонофия, Анатолия, Анфия, Глафира, Ельпидифора и другие со слезами говорили мне: «Не приедешь ты к нам больше, голубушка наша, так и чувствуется, что не приедешь». Матушка игумения, когда я прощалась с ней, благословила меня и сказала: «Не торопитесь возвращением, погостите кстати, покончивши дела в Новгороде, у своих в усадьбе; Бог даст, пройдет зима, а затем я приготовлю вам келью, более удобную». Я благодарила ее и с горькими слезами рассталась с ней. Доехав до Чудова, мы расстались со своими спутниками; до Новгорода тогда не было еще железной дороги, и приходилось снова ехать на лошадях. Но я еще в обители предназначала себе план, — прежде заехать в Ивер к своему отцу, старцу Лаврентию, принять его благословение и рассказать ему все и относительно причины моей поездки. Но люди духовные смотрят на дела иначе, чем мы, близорукие: они во всем усматривают пути Промысла Божия, а не простые случайности, как думаем мы. Вот что сказал мне на этот раз отец Лаврентий: «Святое Евангелие учит нас, что и «волос главы нашей не падает без воли Отца Небесного», поэтому не думай, что перевод твой из твоей любимой и дорогой тебе келейки в дурную и сырую совершился бы без воли Божией; твоя мудрая и добрая игумения не могла бы сего допустить, если бы не попустил, не повелел ей сего Господь. Тебе нужно было изведать и этот крест для большей опытности в дальнейшей твоей жизни. Около семи лет провела

ты в твоей любимой келейке, как сама ты говоришь, привыкая в ней к уединенным келейным монашеским подвигам, к тайной внутренней молитве и тому подобное; значит, срок твоего обучения этому истек, надо было поучиться еще и самоотверженному терпению; ну вот и поучилась немножко, а между тем это послужило тебе как бы вызовом тебя к иному образу жизни, иного рода трудам, на пользу общую; вот и тут поучишься, как злато в горниле искусишься, а потом и совершит Господь хотение Свое о тебе; я уже говорил тебе, что Он Сам тебя как бы за руку ведет, — предайся Ему всецело, Он лучше нас с тобой знает, какими путями нас вести до Царства Небесного. В Тихвин более ты не возвратишься; в Новгороде четыре женских монастыря, не торопясь, можешь присмотреться во всех, и где придется более по душе, там и останешься, впрочем, Господь Сам все устроит».

Пробыв несколько дней в Иверском монастыре, подкрепившись многократной беседой со старцем своим, поговев и причастившись Святых Тайн, я отправилась в Новгород, где и остановилась у одной давно знакомой мне монахини Зверина-Покровского монастыря, Параскевы Алексеевны Калашниковой, старушки-дворянки, имевшей свою собственную келью. Чтобы принять кого бы то ни было, надобно было спросить разрешения у матушки игумении, что тотчас же и последовало. Приехала я вечером, после вечерни. Игуменией в то время была там матушка Лидия, хотя и из дворянской фамилии, но не получившая никакого образования; а по сиротству отданная на воспитание с шестилетнего возраста в Новгородский Свято-Духов монастырь, где впоследствии была и казначеей, а затем переведена в Зверин монастырь настоятельницей. Она была самого живого, сангвинического темперамента, но вместе — очень добрая

и приветливая. Увидев меня на следующий день в церкви и узнав о причине моего приезда в Новгород, она пригласила меня к себе и даже предложила мне монастырских лошадей, когда надобно будет ехать в присутственные места. Я, конечно, благодарила ее, но предпочитала или ходить пешком, или ездить на извозчичьих санках, чтобы не стесняясь посещать Новгородскую Святыню, которой там так много, не забывая и совет отца архимандрита Лаврентия «присмотреться» к монастырям. Говоря по совести, ни один из них мне не понравился, сравнительно с правилами и образом жизни Тихвинского монастыря. В городе беспрестанно и повсеместно можно было встретить монахинь разных монастырей, так как им не возбранялось ходить самим в город, и на богомолье в соборы и другие монастыри, и в лавки, и даже в торговые или общественные бани, и кому куда нужно. Для непривычного взгляда эта толкотня монахинь по городу неблагоприятно влияла на душу. Впрочем, как я после узнала, сама жизнь монастырская поставляла их в такую необходимость. Например, в Духовом монастыре не было даже и трапезы общей; каждая сестра должна была не только ежедневно сготовить себе что-нибудь пообедать, на что, разумеется, посвящалось все утро, и она лишалась возможности быть у Литургии, но надобно было и достать то, из чего бы приготовить обед, поневоле чуть не ежедневно приходилось им, бедняжкам, ходить на базар за провизией, которой закупить на долго они не могли, потому что не имели средств, едва зарабатывая понемножку; да и работы-то свои надо было куда-нибудь сбывать, а куда, как не в тот же город, не в тот же мир. В других монастырях, хотя трапеза и была общая, но весьма скудная, а все остальное надо было купить, даже дрова и растопки, и уголья для самовара, и решительно все. Пи-

сала я обо всем этом и о своем тяжелом впечатлении по сему поводу отцу Лаврентию, но он ответил мне строго: «Советовал бы я тебе, овца, не братья обсуждать чужие порядки и дела по своему узкому кругозору и одностороннему взгляду. Сотни лет стоят эти старинные древние обитатели; тысячи инокинь в них жили, подвизались и спаслись, и ныне живут, подвизаются и спасаются, а ты кто такая, что все забраковала и расхаила? Внимай себе,— посмотрим, как сама-то будешь жить».

Из этого письма я поняла взгляд и желание моего духовного отца и не смела более противиться, зная по опыту его прозорливость, и стала подумывать пристроиться в одном из здешних монастырей. Более всех мне нравилось в Десятинском монастыре, где в то время была игуменией матушка Александра, кроткая и духовная старица. Одна только Параскева Алексеевна, у которой я гостила, знала о моем намерении, по воле моего духовного отца, остаться в одном из Новгородских монастырей. Она предупреждала меня, чтобы я до окончательного решения своего, где именно останусь, никак не говорила игумении Лидии, то есть Зверинской, о своем намерении; иначе она, как более всего дорожившая хорошими певчими и пением, ни за что не даст мне воли в выборе монастыря и станет уговаривать остаться здесь у нее. На другой же день после этого разговора я поехала к поздней Литургии в Десятинный монастырь, после которой думала зайти к игумении Александре и попроситься в ее монастырь, в чем она не отказала бы, как я это достоверно знала. К сожалению моему, я узнала, что она уехала в Юрьев монастырь по делам к благочинному и вернется не ранее трех часов. Между тем в путях Божиих, вероятно, уже решена была моя судьба. Как только я вернулась в Зверин монастырь, мне сказала моя

милая старушка Параскева Алексеевна, что уже несколько раз приходили от матушки игумении пригласить меня туда, так как к ним приехал некто г-н Аренский, любитель и композитор духовного пения, будет сам петь под скрипку свои пьесы и делать спевку клиросным. Когда я сказала, что не застала игумении Десятинской, Параскева Алексеевна возразила: «Уже не судьба ли вам остаться у нас?» И в самом деле, в этот же вечер сказалась эта судьба; и проситься мне в монастырь не пришлось, а меня просто оставили, даже упрашивали, чтобы я осталась. Когда я вошла в зал, там уже пел г-н Аренский под аккомпанимент скрипки составленную им «Херувимскую песнь», которую потом и стал разучивать петь клиросных, и эта «Херувимская» и по сейчас поется там под названием «Аренской». (Кстати упомяну, что г-н Аренский никогда не был учителем пения Зверина монастыря; он, как мне помнится, был доктор и прежде жил в Новгороде, а затем переселился в Петербург, откуда и навещал иногда своих прежних знакомых, особенно любителей пения, в числе которых была и матушка игумения Лидия, и делился с ними своими произведениями.)

По приглашению матушки я пошла к ней, там застала, кроме Аренского, и других любителей духовного пения и некоторых певчих монахинь, пришлось попеть и мне, и как-то само собой решилась моя судьба, что я осталась в этом монастыре.

XIX

Мне дали келью в верхнем этаже одного из корпусов, а послушание назначили, конечно, клиросное, сряду же поручив регентовать на правом клиросе. Это случилось оттого, что незадолго до моего приезда монахиня Дария захворала

и отказалась от дела, а заменившая ее монахиня Мария чрезвычайно тяготилась своим назначением, потому что и действительно не была особенно способна, а по своему робкому характеру, при чрезвычайно строгом и взыскательном отношении матушки игумении к пению, совсем терялась до болезненности. Но нелегко было и мне сряду же стать во главе и незнакомого мне общества, и не вполне знакомого и дела; хотя я и хорошо знала пение и музыку и регентовала хором еще в институте, но в Тихвине регентшей не состояла, а между институтским и монастырским пением — разница большая. К тому же в простом пении, начинать каковое и управлять им лежало тоже на обязанности регентши, было большое различие в напевах; все почти гласы пелись иначе, чем в Тихвине, и мне приходилось стараться забывать, чему навыкла в четырнадцать лет, и привыкать к новым напевам. Находились между певчими и добрые сестры, которые понимали мое затруднительное положение и с любовью показывали мне; но находились и такие, которые сряду же отнеслись ко мне с завистью, и теперь находили удобный повод как бы ответить мне насмешками и колкостями, посылаемыми по моему адресу. Все это я понимала, все чувствовала; но решилась ради поддержания, насколько было возможно, мира не подавать и вида, что я страдаю душой. Я всегда старалась заговаривать с моими ненавистницами, старалась их попросить мне показать, чего я не знала, хотя большинство из них знали меньше меня. В праздники, когда пели все нотное, у меня сходило все прекрасно, и матушка игумения всегда благодарила и хвалила меня; но зато будни были днями моих искушений. Все восемь гласов стихир, восемь гласов тропарей, восемь гласов ирмосов, конечно, нигде не были напечатаны или написаны в том своеобразном виде, как пелись,

приходилось по слуху и по памяти навикать. Мало-помалу дело стало укладываться; сестры недовольные усмирились, я стала привыкать к напевам, и казалось, что конец моему испытанию наступал. Но тут возникло другое, несравненно большее искушение, чего я никогда не ожидала и не могла предполагать.

Описывать его не стану, да не соблазнятся слышащие, скажу только, что оно последовало со стороны стоящих во главе управления. Не знаю, выдержала ли бы я эту напасть, если бы не послал мне Господь помощь и подкрепление в лице одной старицы, ризничей монахини Людмилы. В то время, как многие из всех знавших мое невинное гонение, отвернулись от меня из страха подпасть неудовольствию матушки, эта старица буквально взяла меня под свое покровительство, утешала меня не столько словами, сколько делом; бывало, скажет, что у ней очень много шитья и позовет меня на целый день к себе шить, и среди общей с ее помощницами и с ней вместе работы, незаметно пройдет день, который, если бы я оставалась в своей келье одна, я бы весь провела в слезах и в смущении. Или, бывало, даст мне в келью каких-нибудь лакомств и позовет меня с кем-нибудь из певчих, и тому подобное. Но развеваемое и сдерживаемое таким образом в течение дня горе, постоянно камнем давившее сердце, давало себе полную свободу ночью в слезах и размышлениях. Враг всеобщего спасения, начав одолевать меня, усердно доводил свое дело до конца. Он внушал мне такие мысли: теперь уже все равно я утратила навсегда все свое спасение, все монашеские подвиги; раз сорвавшись с своего корешка, из первой обители, мне не привиться здесь ни по духу самой обители, ни по козням, коих здесь так много, ни почему бы то ни было. Если пойду еще в другую обитель, будет то же, или еще худшее. Да и какая эта обитель (как и все

городские) — среди городской суеты, монахини живут всецело на своем содержании, не имея возможности заняться «единым на потребу», по необходимости должны «пещися и молвить о мнозем», а сколько между ними взаимного греха, — недружелюбия, зависти, самолюбия и прочего, личину только монашества мы здесь носим, только морочим людей, живем хуже, чем в миру, лучше уже прямо уйти в мир и жить уединенно, тихо содеяв в тайне свое спасение. Таковы были мои мысли, а на самом деле я чувствовала, что никогда не решусь уйти в мир; я вспоминала мое первое призвание — видение, бывшее еще в институте, мне становилось стыдно и страшно своего душевного состояния, я падала перед святыми иконами, как растерянная; не молитва тихая, последовательная, а какие-то несвязные восклицания срывались с уст как бы невольно: «Господи, не дай мне с ума сойти», «Господи, поддержи меня, я изнемогаю, погибаю в борьбе, или положи конец моим испытаниям» и тому подобное. Никто не знал этих моих страданий, моих бессонных ночей, никто не видел моих слез и рыданий. Но Всевидящее Око все видело и не оставило и на этот раз без утешения Своего малодушного ребенка.

Однажды после обеда вышла я погулять близ ограды со стороны Волхова, берег которого до самой ограды представляет широкий прекрасный покос. Незаметно пошла я направо и дошла до самого конца ограды, до угловой башни, и присела на случившийся там подле башни камень. Не могу сказать — задремала ли я, или просто нашло на меня как бы забытье какое, только слышится мне, что в городе, на соборе, бьют часы; я считаю... бьет 12 часов. «Не может быть, — думаю я, — если 12 часов дня, то как же в первом отошла трапеза, а сколько прошло времени, пока я вышла и вот дошла, не торопясь, до этого места; а если 12 часов ночи, то,

и тем более, не может это быть». Смотрю по направлению часов и вижу: тьма непроглядная, лишь циферблат, освещенный всяким перед ним фонарем, показывает стрелку на 12 часах, а кругом непроницаемая темнота. Вдруг чей-то голос говорит мне: «Вот видишь: в монастыре-то хотя уже и темно, но еще сумерки, вечер, а в миру давно уже полночь». Я очнулась, сряду же поняла урок вразумления, и мне полегчало на душе. Говорю это к тому, что, может быть, и не мне одной приходили подобные мысли, так вот как вразумительно избавил меня от них Господь, никогда и ни в каком затруднительном случае не оставлявший меня без вразумления и утешения. Если и попускает Он иногда сильные и тяжелые искушения, так что мы, немощные, едва-едва сносим их, то это для нашего большего смирения, чтобы мы сознали и от души почувствовали, «куда мы годны без Его святой помощи».

Время шло и с собой уносило все прошлое, пережитое: и хорошее, и дурное, и тяжелое. Миновали бури, наступала тишина, затем снова волновалось житейское море и снова утихало, как и обычно бывает, так случалось и в моей маленькой жизни. Но все, что я считала тяжелым и страшным в то время, как оно совершалось, было лишь как бы преддверием тех тяжестей, которые суждено было мне Промыслом Божиим понести в свое время. Но да будет за все слава Господу, указавшему нам собственным примером не иной как крестный путь к Царству Небесному.

XX

Проживши года три в Зверином монастыре, я, с благословения матушки игумении, поехала в Иверский монастырь проведать своего дорогого старца, отца архимандрита Лаврентия.

Он был уже очень слаб, почему сдал управление монастырем Боровичскому отцу архимандриту Вениамину (о котором я многократно упоминала), а сам пребывал «на покое».

Новый настоятель покоил старца, как сын отца; сам он поместился в кельях отца наместника, чтобы ничем не нарушать покоя отца архимандрита Лаврентия, предоставив ему оставаться в занимаемых им настоятельских кельях. Вообще он относился к нему с искренней любовью, преданностью и глубоким почтением, предупреждал всякое его желание, охранял от всего, могущего его огорчить, для чего по несколько раз в день навещал его кельи, наблюдая неизменно тот порядок, который был введен самим старцем. Такое внимание со стороны настоятеля доставляло благоговейному старцу то единственное удобство, к которому только и стремилась теперь его душа, — среди полного, свободного от начальственных забот уединения, предаваться беспрепятственно молитве и богомыслию.

Когда я прибыла в Иверский монастырь, то отец архимандрит Вениамин, давно уже знавший меня, не замедлил пригласить меня к себе, при чем и сообщил мне о состоянии дорогого для обоих нас старца, о чем мы оба немало поскорбели. Он сообщил о моем приезде старцу, который пожелал поскорее увидеть меня, чем я, конечно, и воспользовалась, так как это и была цель моего приезда. Меня проводили в кабинетик старца, где он за последнее время пребывал почти неисходно, сидя или лежа на своей койке, в ватном подрясничке, с коим не расставался и к ночи.

Я застала его сидящим на койке. Вид его поразил меня. Все в нем говорило, что он угасает, и вот-вот уже совсем угаснет. Подошед к нему, я молча опустила на колена, ибо не имела силы выговорить ни одного слова. Он понял мое

смущение, у него самого заблестели на глазах слезы, он молча положил мне руку на голову и не без усилия проговорил свое обычное мне наименование: «Овца». Затем началась наша беседа, но как-то отрывисто, краткими фразами, какими я старалась ограничиваться, чтобы не беспокоить его.

У изголовья койки стоял маленький столик; на нем лежала книга (в четырех долях листа) церковной печати; то был акафист Успению Божией Матери. Указав мне на эту книгу, батюшка сказал: «Вот моя теперешняя Собеседница, моя Утешительница; вспоминаю с Нею родную мою Лавру Киевскую; пред Нею, Владычицею, я произносил мои обеты иноческие при пострижении, а теперь готовлюсь отдать ответ в них. Милости прошу у Ней, Владычицы, да покроет Она меня, грешного, нерадивого инока». Затем, помолчав, еще сказал: «Только и прошу Господа, чтобы не лишил Он меня силы держать непрестанно в уме и в сердце сладчайшее имя Его до последнего издыхания». Затем он поручил мне открыть ящичек и вынуть из него небольшую рукопись, что я и исполнила. «Это прекрасная молитва батюшки нашего отца иеросхимонаха Парфения (канонизирован Украинской Православной Церковью в 1993 г. — *Прим. ред.*), которую он сам составил и читал, вот и теперь ее повторяю; хочешь ты, так возьми себе, и тебе она пригодится», — сказал он мне.

Не бесполезно, думаю, написать эту молитву, вот она: «Безмужняя Эммануила Мати, кристалловидная Параклита Невесто. При последнем моем издыхании предстани ми в помощь; Кровию Божественною Христовою напитай мя в далекий путь и даже до Царских врат, донележе поклонюся Судии, мне любимому, провожатая ми буди, милости Пучина, Утешительница Всепетая».

Опасаясь долго утруждать старца-праведника и лишая его постоянного молитвенного общения с Богом, я спешила удалиться и дать ему покой. Испросив благословения поговеть и причаститься Святых Тайн, я простилась с ним, причем он сказал: «Приходи ко мне каждый день после поздней Литургии; в эти часы я свеж и могу говорить, а к вечеру уже совсем слабею; приходи, — соутешимся еще, пока здесь, на земле».

В течение немногих дней пребывания моего в Иверском монастыре, я с наслаждением пользовалась милостивым позволением старца посещать его и жаждала этого времени, как *«елень источника воднаго»*.

Кратки, но, тем не менее, глубоко назидательны и незабвенны для меня были эти последние с ним беседы. Самый вид этого праведника, как бы уже покончившего все расчеты с земной суетой, и всей мыслью жившего лишь в Боге, сильнее всякого слова говорил душе. Впрочем, несмотря на физическую слабость свою, он охотно, с отеческой любовью беседовал со мной, видимо, стараясь привести душу мою в такое состояние, чтобы она прочувствованно, убежденно сознала всю ничтожность, то есть маловажность, скорбей и невзгод здешней жизни, взирая очами веры на обещанное за них воздаяние. «Не у до крове стасте, — приводил он слова апостола, — значит, надобно терпеть и подвизаться даже до пролития крови, а не изнемогать под легкими (сравнительно) ударами мелочной жизненной суеты». «Этими неизбежными столкновениями, — говорил он, — Господь обучает лишь тебя для дальнейших подвигов терпения больших скорбей, которые придут в свое время и тебе самой, и другим, которые потребуют от тебя же утешения и подкрепления. Скорби — это удел монашеской жизни, ее неотъемлемая принадлежность, от самого начала ее и до конца. С возрастом духовным

монаха возрастают и скорби, то есть степень их; младенцу — младенческие скорби, а зрелому возрасту — зрелые скорби, комуждо противу «силы», как сказано. Нет тяжелей скорбей начальнических; но подчиненным как-то не верится этому, им кажется наоборот, что настоятельская жизнь и легка, и безбедна, между тем как на самом деле она есть тягчайший крест из всех иноческих крестов, который своей тяжестью придавливает к земле нашего брата раньше времени. Вот придет время,— сама испытаешь на себе». Такими совершенно ясными словами, или косвенными намеками, но всякий раз во время наших бесед батюшка не пропускал случая напомнить мне о трудности и высоте настоятельской должности, всегда при этом прибавляя: «сама узнаешь, сама испытаешь», как бы в ответ на мою мысль, что все это он говорит для того, чтобы я не осуждала строго настоятелей в их невольных ошибках и проступках человеческих. Но, наконец, я решилась сказать ему: «Родной отец мой! Вы так мне говорите, как будто мне самой предстоит это начальственное бремя».

«Так, овца, именно так; тебе оно и предстоит, к сожалению; ты на то и отмечена Богом, и избрана, а *«ихже избра Господь, тех и оправдает»*, умудрит. Вникни в пути твоей жизни, коими тебя Господь ведет, вдумайся,— и сама поймешь Его промыслительные пути.

Вот ты с первой минуты вступления в монастырь все находишься близ настоятельниц; не думай, чтобы это было случайно, у Бога нет случаев, а все промыслительно. Находясь часто при настоятельницах, ты имеешь возможность близко видеть их дела управления, их отношения к сестрам и взаимно — сестер к ним; это дает тебе опыт, который в свое время и принесет тебе большую пользу. Видя в этих отноше-

ниях и доброе, и злое, примешь в руководство себе эти примеры, ибо пример — лучший, чем любая книга, наставник. Не говорю тебе приглядываться нарочито, или обсуждать действия настоятельницы — сохрани Бог от этого, это дело не твое, а все же нельзя не видеть того, что перед глазами, и надо из всего извлекать себе уроки».

Когда я в последний раз перед отъездом пришла к бабушке, эта последняя наша беседа была особенно трогательна, а для меня — и незабвенна. Оба мы сознавали, что видимся в последний раз здесь, на земле.

Он встретил меня словами: «Что, уезжаешь ныне?»

Вместо ответа я заплакала, сев подле него на стул. Заплакал и он, и уже не скрывал своих слез и своего смущения. Мы оба молчали; наконец, он прервал молчание, сказав: «Жаль мне тебя, овца; много горя предстоит тебе в жизни, *“многими скорбями подобает нам внити в Царство Небесное”*». Господь и Владычица не оставят тебя, возлагай на Них все свое упование. Мой путь уже кончается; не сегодня-завтра, отойду в иной мир. Если обрету дерзновение, — не забуду тебя и там, перед Господом, а ты поминай меня». Затем он указал мне на киот, стоявший в углу; подле киота стояла палка, служившая ему посохом, на которую он опирался при ходьбе; и приказал мне подать ему этот посох, что я и исполнила, думая, что он хочет встать. Взяв в левую руку посох, он приказал мне стать на колени против него и положил мне правую свою руку на голову, благословив меня, и сказал: «Вот, возьми этот посох, обопрись на него и держи разумно и твердо. Ты будешь матерью для сестер твоих, я это знаю, у тебя добрая, отзывчивая душа, люби их...»

Далее он не мог продолжать, глаза его наполнились слезами. Конечно, рыдала и я. Снова водворилось молчание;

я все еще стояла на коленях, опершись на его старческий посох, который стал моим достоянием, и по сей час храню его, как святыню. Затем отец Лаврентий, сделав над собой, видимо, усилие, уже совсем бодро сказал: «А какая радость будет, овца, когда, по милосердию Божию, мы с тобой снова свидимся в Царствии Небесном, там уже нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, а ведь увидимся, овца, я верую Господу, ей увидимся. Ну, гряди теперь с миром, подвизайся пока: *“теццйте, дондеже постигнете”*». Я поняла, что его любвеобильная душа не хотела отпустить меня подавленную чувством разлуки с ним, и он старался утешить надеждой, что эта разлука лишь временная. Так рассталась я с незабвенным и незаменимым отцом моим, которого после сего уже больше не видала. Через непродолжительное время я получила известие от отца архимандрита Вениамина о кончине старца-праведника.

XXI

Между тем жизнь моя в монастыре потекла опять обычным порядком. Не смею умолчать тут и еще об одном бывшем мне вразумлении свыше, каковое может послужить и другим, подобным мне, на пользу; так как и цель моих этих записей не та, конечно, чтобы только сообщить кое-что о себе, ибо на что это мне, да и кому когда и случится прочесть их, тот, конечно, и не знает меня, и тогда меня уже не будет на свете. Единственная же цель моя в этом — принести пользу инокиням, ибо все мы недугуем одними общими нам язвами скорбей и немощей наших. Мне же, немощнейшей и худейшей из всех инокинь, Господь нередко посылал великие подкрепления и откровения свыше, по обычному Его промыслению: *«изводить честное от недостойнаго*

и призобиловать благодать Свою там, где умножается грех».

В Тихвинском Введенском монастыре относительно говения существовал такой обычай: все манатейные монахини и сама матушка игуменья исповедовались у «духовника», иеромонаха из Большого Тихвинского монастыря, приехавшего для сего всегда, когда назначалось говение. Все же остальные сестры: и рясофорные, и послушницы, и новоначальные, имели своим духовником одного из белых монастырских священников. В Новгородском Зверином-Покровском монастыре хотя и был духовником для всех сестер без исключения иеромонах Юрьева монастыря, но только тогда, когда говели все сестры, то есть в посты; а если бы кому когда понадобилось или захотелось поговорить и приобщиться в иное время, вне поста, то приходилось исповедоваться у одного из своих белых (монастырских) священников. Многие из сестер, а в том числе и я, весьма тяготились этим. Очевидно, что в монашеской жизни белый священник не мог быть хорошим руководителем и советником в том, что ему самому было совершенно чуждо и по опыту, и по расположению. Известно, что многие священники не только не сочувствуют монашеской жизни, но прямо порицают ее и даже смеются над ней. Тяжело нам было открывать им свою душу, тяжело и спрашивать о своих духовных недоразумениях, и просить совета. Вот, например, ночная молитва составляет обязанность инокинь, и неисполнение ее не может не тяготить совести. Когда говоришь об этом священнику на исповеди, то не только не получаешь пользы, но еще больше соблазна и повода к лености; так мне самой священник ответил на это: «Ночь дана для покоя, надо ж и выспаться, какой тут грех». Да и много подобного рода ответов, даже с оттенком

насмешки, приходилось слышать вместо назидания, так что получался большой соблазн, и мы недоумевали, как быть, к кому обращаться. Вот я и надумала: исповедоваться у священника лишь для формы, не говорить всего, что на душе, и не спрашивать советов, а выжидать случая, когда будешь исповедоваться у иеромонаха, которому можно во всем открыться. Приходилось ждать этого иногда и довольно долго, когда по краткости летних постов, Петрова и Успенского, по какой-либо причине не приходилось отговорить. Тяжело чувствовалось на душе, да делать было нечего, а затем привыкла, как будто так и надо. Вдруг видится мне однажды сон.

После вечерни, которую я слушала в церкви, будто бы я осталась в ней поправлять лампы (чего на самом деле никогда не делала, потому что не несла послушания свечницы). В церкви сумеречный полумрак, глубокая тишина, никого нет, я одна хожу с лампадами то к одной, то к другой иконе. Вдруг я увидела у себя на руках младенца, весьма малого, но такой неописанной красоты, светлого, прозрачного, и сказать не могу, как он хорош, но, к великому моему изумлению, он кажется мне мертвым, и я ужасаюсь этой мысли и думаю: «Откуда он взялся у меня на руках?» На это слышу ответ, не знаю, чей: «Из недр сердца твоего». Чтобы лучше налюбоваться им, ибо я понимала и чувствовала, что он не простой младенец, а Богомладенец, я поднесла Его к иконе Богородицы, помещавшейся точно так, как в Иверском монастыре Иверская икона, на колонне позади правого клироса, пред каковой горели особенно ярко лампы. Чем более я люблю Имя, тем сильнее убеждаюсь, что это — Богомладенец Иисус; я начинаю ходить с Ним по церкви, радуюсь, что никого нет, и я заперта в церкви, следовательно, никто не отымет Его от меня, умиляюсь, обливаю Его слезами, прижимаю к сердцу

с величайшим благоговением, лобызаю Его ручки и ножки и вдруг, обратив внимание на то, что Он лежит на моих грязных от лампадной копоти и масла руках ничем не покрытый, обнаженный (совсем без одежды), я подумала: «Как же это я держу Богомладенца такими грязными руками, да и рукава моего подрясника грязны и засалены, и все белье на мне грязно». Я хочу переодеться и ищу, куда бы мне на время положить Богомладенца. Иду опять к иконе Богоматери, против которой у противоположной колонны стоит скамья, на которую я и положила Его. Поспешно стала я раздеваться; но, увы, — ничего чистого не оказалось со мной, так что пришлось надевать на себя все прежнее, только что снятое с себя, и я еще более огорчилась, сознавая, что еще более загрязнила руки о нечистую свою одежду. Вдруг мне вспомнилось, что у меня в кармане есть новые платки чистые. Я тотчас достала их и одними покрыла рукава подрясника, начиная от плеч, другими обернула руки, чтобы снова принять Младенца. Обернувшись к колонне лицом, я стала на колена, чтобы взять младенца, но и тут, пораженная Его красотой, я все еще любовалась Им, и вдруг увидела на колонне, бывшей белого цвета, надпись красными кровяными буквами: «Агнец, за мир закланный». Это еще больше убедило меня и в том, что Он действительно не простой Младенец, а Богомладенец Иисус, и в том, что Он мертв, а не спит. Еще с большим благоговением, поклонившись Ему, я лобызала Его святые стопы и, простирая руки, чтобы взять Его, воскликнула: «Кои́ма рукама прикосну́ся нетленному Твоему телу, Агнче Божий?» И что же? Мертвый Богомладенец милостиво, ласково взглянул на меня и произнес: «Теперь ты чувствуешь, каково принимать неочищенною совестью Агнца, за мир закланного».

Так премудро и милостиво вразумил меня Господь к должному приготовлению к принятию Святых Тайн.

**Святитель Николай.
(Высокий путь).**

Подобного рода было и еще однажды мне вразумление. Я не переставала смущаться характером монастырской жизни, и между прочим таким вопросом: почему скорби составляют как бы ее принадлежность? Мне казалось, что без них гораздо легче и удобнее «содевать свое спасение»; со спокойным, мирным сердцем и молиться лучше, чем со сжатым и измученным. Кроме того, и некоторые принятые в монастыре подвиги и лишения, по моей юности и изнеженности, были мне непосильны, например, сухоядение в продолжение целой недели, и многие подобные, которые меня только изнуряли до болезни. А главное, смущало меня и еще одно странное явление: наша матушка игуменья ни за что не позволяла лишний раз поговорить, даже Великим постом; кроме монахинь мантейных, никто и не смел благословиться поговорить второй раз на Страстной неделе. Я и в мире живши, даже и в институте, где нам не запрещали это, — говела Великим постом два раза, а тут, думаю, в монастыре, и лишают этой единственной поддержки нравственной, между тем внешние подвиги налагают непосильные. Все это в совокупности не вязалось в моем понятии, и я смущалась. Вижу я, однажды, сон: иду я где-то в открытом поле по дороге, но мне надо свернуть вправо, а дороги туда нет; все как бы гряды очень длинные, в таком виде, как бывают осенью, когда овощи с них уже убраны, а в бороздах между грядами грязно и мокро. Я стою в раздумье, как идти: бороздами — мокро, грязно, а грядами — вязко будет, думаю. Навстречу мне идет,

вижу, старец-архиерей с посохом в руке. «Посмотрю,— думаю,— как он пойдет, так пойду и я».

Поровнявшись со мной, он говорит мне: *«Пойдем, я проведу тебя»*. Левой рукой опираясь на посох, правой он взял меня за руку и повел по гряде вдоль ее, и говорит: *«Хотя и вязко, не раз увязнет нога, правда, но все же путь высокий; а низким путем — смотри, сколько грязи и воды»*. Долго шли мы с ним, и он все поучал меня, а я разговаривала с ним без страха, хотя и узнала в нем святителя Николая. Наконец, мы пришли к какой-то церкви или к часовне,— не помню, и вошли в нее. В ней стояло большое Распятие, а по правую сторону его висел на стене образ святой мученицы Параскевы (Пятницы). Я стала поклоняться пред Распятием и, как только наклонилась головой до земли, святитель так сильно ударил меня по шее посохом своим, как будто хотел отрубить голову; я не успела опомниться от удара,— последовал другой, третий и до пяти. *«За что,— думаю,— он меня бьет, или в самом деле хочет отрубить голову, но за что!»* — *«Не рассуждай, не умничай,— ответил он на мою мысль,— если ударил, то, значит, так надо. Забыла, что послушание беспрекословно повинуется, а не умничает?»* Тем временем я поднялась, а святитель, ласково улыбаясь, глядел на меня, и, указывая на икону мученицы Параскевы, сказал: *«Вот она, Невеста Христова, и главу свою предала на отсечение,— в жертву Жениху своему; а ты и мало потерпеть не хочешь, и мудрствуешь, не имея еще духовного разума. Смирись, терпи — и спасешься»*.

XXII

В бытность мою в сем Зверином-Покровском монастыре случилось немаловажное для моей скромной и убогой жизни событие. В этом монастыре, как известно, находится чу-

дотворная икона святого праведного Симеона Богоприимца, спасшая весь Новгород от моровой язвы. Я уже упоминала, что находилась с первого времени моего поступления сюда под ближайшим покровительством старицы-ризничей, матушки Людмилы. Она-то и поручила мне заняться составлением акафиста святому праведному Симеону Богоприимцу. Впрочем, дала она это поручение, думаю, на основании моего ей признания в том, что мне приходилось уже и раньше заниматься подобными работами. За святое послушание Господь помог мне сделать это, насколько сумела я при полнейшем старании, конечно, надеясь лишь на помощь свыше молитвами святого праведного Симеона. Чтобы не быть узнанной по руке писания, я написала его славянским шрифтом и для полнейшего сокрытия тайны, сложив тетрадку в восьмую долю листа, запечатала в конверт печатью моего деда с гербами и титлами, и опустила в почтовый ящик, рано утром. В тот же день почтальон принес его, как адресованный на имя нашей матушки-игумении Лидии вместе с другой корреспонденцией.

Каково же было мое положение, когда часов около одиннадцати, то есть перед временем трапезы, меня позвали к матушке игумении, которая и стала показывать мне этот акафист, вся будучи объята радостью о получении такового великого, по ее отзыву, дара для нашей обители. Она всем показывала его, и не только его, но и самый конверт с его загадочной печатью, причем не было конца догадкам и вопросам, и суждениям о том, кто бы мог быть написавший и доставивший его. Чтобы не выдать себя, и я высказывала различные предположения. Кто-то назвал имя Николая Васильевича Елагина, как известного составителя акафистов; на этом предположении и остановились. На следующий

день матушка игумения поехала к Владыке, коим был в то время в Новгороде (то есть викарием) Преосвященный Серафим, впоследствии епископ Самарский. Владыка оставил рукопись у себя, чтобы посмотреть ее, после чего обещал дать ответ. Можно себе представить, как интересовал исход этого дела всю нашу обитель, не исключая и священников. Конечно, для меня этот вопрос имел двойной интерес; с замиранием сердца я ждала решения Владыки, как произнесения приговора на мою затею.

Наконец этот день наступил; Владыка прислал к матушке-игумении, чтобы она на следующий день прибыла к нему. Не знаю, по какой причине, матушка-игумения на этот раз вместо своей келейной взяла с собой к Владыке меня, так что мне и пришлось узнать прежде всех участь своего акафиста.

«Прекрасно и тепло составлен акафист,— сказал Владыка,— только нелогично, непоследовательно приведены события, перепутаны позднейшие раньше первых и наоборот. Очевидно, составитель не знал о необходимости держаться порядка во времени событий». (Я и в самом деле впервые слышала об этой непременно принадлежности акафиста.) Матушка игумения с тревогой спросила: «Что же, Владыко, значит он и не годится?» — «Как не годится, вполне пригоден, но надобно над ним поработать, то есть переставить некоторые икосы и кондаки один на место другого. Это нетрудно — составлен он довольно хорошо; но потребуется немало времени, а у меня-то его и слишком даже мало. Если пустить его так в цензуру,— возвратят, только лишняя проволочка выйдет. Если хотите, возьмите его назад, перепишите мне уже не церковным шрифтом, а обычным, притом пореже строки, чтобы свободнее было поправки делать; я, когда удосужусь, буду понемногу заниматься им. А если хотите, можете пока

и так читать его келейно, пожалуй, и в церкви, но не во время богослужения, а вот во время чтения вашего монашеского правила». Нельзя и высказать, как мы были рады обе с матушкой, — просто на крыльях полетели мы сообщить скорее эту радостную весть своей обители. «Вот, — думала я, — наконец и наш великий угодник Божий, стоящий на рубеже Ветхого и Нового Заветов, будет иметь свой отдельный акафист!» Мне же и поручила матушка игуменья переписывать акафист именно так, как приказал Владыка, что, конечно, я и исполнила с великой радостью. Между тем стали и почитать его за нашим монашеским правилом, для чего собирались чуть ли не все сестры, всем им он нравился, особенно, когда матушка игуменья поручила мне, как регентше, положить на ноты припев, то есть последние слова икоса: «Радуйся, Симеоне Преподобнейше, Богоприимче Праведный».

Долго пришлось, однако, ожидать нам от Владыки акафиста в исправленном виде. Затем еще дольше проходил он все инстанции цензуры, пока, наконец, не добился разрешения и по напечатании сделался всеобщим достоянием. Но мне не суждено было дождаться этого в своей обители. В то время вообще с большим затруднением и как бы неохотно разрешались подобного рода печатания; да и Преосвященного Серафима переместили из викария Новгородского на самостоятельную кафедру в Самару, так что дело акафиста еще и от этого обстоятельства замедлилось. Между тем и меня, бывшую еще рясофорной, перевели в Званский-Знаменский монастырь в должность казначеи, а вместе и помощницы начальницы Державинского женского епархиального училища.

Кажется, через год, или около этого, вызвали Преосвященного Серафима в Санкт-Петербург для присутствия в Священном Синоде, каковое обстоятельство и послужило к скорей-

шему напечатанию акафиста святому праведному Симеону Богоприимцу. По исправлении его, как следует по правилам, он сам же и представил его в цензуру, да и похлопотал о беспрепятственном разрешении скорейшего напечатания. Я, находясь далеко, не была извещена о том вожделенном дне, когда в первый раз был прочитан, при полной торжественности, этот уже напечатанный акафист, на день памяти святого Симеона 3 февраля. Тем не менее, великий, милостивый угодник Божий не забыл в этот день утешить и меня, убогую, потрудившуюся для него по мере своих слабых сил, и сам явился мне во сне дивным образом, обещая свое заступничество.

Будто бы пришла я к какому-то настоятелю на благословение. Прошед прихожую, взошла в довольно просторную комнату, как бы зал, оттуда в небольшую, неширокую, угловую комнату, которую я сочла или гостиной, или же кабинетом хозяина. Обстановка этой комнаты была необыкновенна, и я хорошо ее запомнила: прямо против входа из зала были два окна, и третье окно — по левую сторону; все эти окна были во все пространство от пола и до потолка, так что не было ни подоконников, ни рам, а сплошное стекло. Обе эти стены были сплошь уставлены растениями, зеленеющими роскошной зеленью; стояли ли они в горшках, или вели начало с земли, я не знаю, только верхушкам их как бы и конца не виделось, да и потолка, как помнится мне, в этой комнате не было. Хотя и все окна едва виднелись из-за сплошной зелени, но в комнате было очень светло. Особенно светились две лампы, горевшие перед двумя иконами, помещавшимися: в правом углу — икона Спасителя, а в левом — Богородицы; обе иконы в золотых ризах. В простенке между двух окон против входа из зала стоял как бы диван, перед ним продолговатый стол, а по обеим сторонам стола, с боков от дивана стояло по одному креслу. Больше мебели я не видела. По

правую сторону была еще дверь, как бы во внутренние покои хозяина, откуда он и вышел. Прежде всего, обратясь к иконе Спасителя, он сказал: «*Ныне отпущаеши раба Твоего*» и прочее. Окончив молитву, он благословил меня и пригласил сесть на кресло, стоявшее по правую сторону дивана, к столу, а сам сел на диване. Вид его внешний был чуден! Лицо белое, как бы прозрачное, окаймленное седыми, как снег, волосами; одежда, помню, была зеленого цвета, но ряса ли, или что другое — не поняла я. Взгляд его был полон милости и любви ко мне, точно я была ему близкая, своя, а не так, как грешница перед праведником. Во всей комнате слышалось необыкновенное благоухание, как бы от многих душистых цветов, так что я неоднократно думала, откуда оно могло истекать, когда везде была лишь зелень, хотя и чудная зелень, но все же цветов не было.

Когда мы сели, у нас началась беседа, но привести ее не могу; помню только, что смысл ее был тот, что он обещал мне свое покровительство и утешал меня, еще говорил и о блаженстве праведных, начинающемся еще в сей жизни. Я помню, что я почти все время молчала, потому что так сильно переполнена была сладостным чувством, что уста мои как бы запечатались. Долго ли продолжалась эта таинственная беседа, я не могу определить. Но вот по тому же направлению, откуда пришла и я, показалась монахиня, высокая, тонкая, стройная, бледная, с чрезвычайно скромным симпатичным лицом; она была в мантии, в куколе на голове, с которого креп был несколько спущен на лицо ее. На груди ее был наперсный крест. Когда она, прошед первую комнату (зал), вступила в дверь той, где мы сидели, то святой Симеон встал, и мы все трое стали опять молиться на иконы. Потом он подошел к ней и, поздоровавшись, как уже со знакомой ему, отрекомендовал нас друг другу так: «Это — само смирение и кро-

тость», а указывая ей на меня, произнес: «Это...», — назвав добродетели, коих я вовсе не имею. Мы поклонились друг другу и снова сели на свои прежние места, а вошедшая — на другое кресло, по ту сторону против меня. Что говорили мы, или даже говорили ли, я не помню; знаю только и достоверно помню, что я вкушала сладость, небесную сладость, мало-помалу наполнявшую мою душу все больше и больше. Но вот святой Симеон Богоприимец сказал: «Надо же и угостить гостей моих!» Хотя никого, кроме нас, не было во всем доме, то есть где мы проходили и сидели, но вот со словом праведника явились перед нами на столе три прибора, то есть перед каждым из нас; а затем, хорошо помню, что как бы сверху спустилось блюдо, на котором лежало кушанье; еще когда спускалось оно, то, по мере его приближения, аромат его усиливался, а когда оно совсем стало на место посреди стола, то благоухание наполнило всю комнату, так что я едва выдерживала производимую им сладость души. Вид явившегося кушанья был похож на большие ломти белого хлеба, уложенные рядом один возле другого и облитые чем-то густым, белым и горячим, потому что от него шел как бы пар, издававший это благоухание. Когда все это совершилось, святой Симеон встал, возвел очи к небу, и, прочитав молитву, благословил, сказав обычные слова: «Христе Боже, благослови рабом Твоим». Помню хорошо, что все мы взяли по куску из лежащего на блюде кушанья и положили на свои тарелки. О других не знаю, вкусили ли они этой пищи, о себе же помню хорошо, что я не смела до нее дотронуться, хотя и положила к себе на тарелку. Я вкушала, и вкушала с избытком, но не вещественно лежавшую передо мной пищу, а какую-то необычную сладость сердца, которая, как у пресыщающегося пищей тленной, все более и более насыщала мою душу,

и, если бы не кончилось это видение, если бы не проснулась я, то не знаю, осталась ли бы душа моя во мне.

Пробудившись, я была всецело объята этим сладким восторгом; образ святого Симеона Богоприимца живо стоял передо мной, и я чувствовала какую-то близость к нему, любовь сильнее прежней, и с той поры моя вера и любовь к нему стали еще сильнее. Весь следующий день и далее меня не покидало это сладостное чувство, пока, наконец, не сгладилось обычной жизненной суетой. Но и до сего времени, хотя прошло уже немало лет, во дни памяти его предстательства, и мне бывает очень легко и отрадно. На следующий день, 4 февраля, меня известили телеграммой из Зверина монастыря о совершившемся там торжестве. При сем мне стало яснее, почему сам праведник, по великой своей милости, не презрел и меня, и я от всего сердца возблагодарила Бога.

XXIII

Раздрание завесы.

Случилось мне бывать в Валаамском монастыре, в то время, когда там настоятельствовал известный святостью жизни старец, игумен Дамаскин. Я сподоблялась неоднократно иметь с ним духовные беседы, и даже у него исповедоваться. В последние годы его жизни мне не случилось быть у него; должность казначеи в Званско-Знаменском монастыре не позволяла мне отлучаться, а между тем старец Дамаскин скончался. Прошел уже и не один год после его смерти, и я, признаюсь, нисколько о нем не думала, разве только поминала на молитве, и то не всегда.

Однажды мне случилась большая скорбь, так что я серьезно подумывала отказаться от должности. В это время как-то видится мне во сне, что я пришла в келью к отцу игумену

Дамаскину и стою в дверях его гостиной, ожидая его прихода из его кабинета, дверь в который была с правой стороны неподалеку от окна. Вот показался из кабинета отец Дамаскин, точно такой, каким я его знала при жизни его, только бодрее и как будто моложе, и очень веселый; он в черной монашеской рясе, в клобуке и с наперсным крестом на груди. Поклонившись, я подошла под благословение; он благословил меня и сказал, указывая на угол, где висели святые иконы с горевшей перед ними лампадой: «Помолись».

Оба мы с ним стали молиться и креститься; потом он сел на диван и мне предложил сесть на кресло по правую его сторону. Началась наша духовная беседа; о чем именно, я не помню теперь, кажется мне, что я изливала перед ним свою скорбь.

Хорошо помню, что, наконец, он спросил меня: *«А знаешь ли ты, что значит раздирание церковной завесы надвое в Иерусалимском храме, во время крестной смерти Спасителя?»* Я отвечала ему, как училась из Священного Писания, что это означало разделение Ветхого и Нового Заветов. «Хорошо, — отвечал он, — это верно по книжному; а ты сама подумай, не относится ли это как-либо к нашей монашеской жизни?»

Я стала вдумываться, и, сама не будучи уверена в точности и справедливости моего мнения, отвечала: «Думаю, что это означает вот что: раздирается душа человека, стремящегося к Богу и к Богоугождению, раздирается надвое, делаясь духовной, не переставая принадлежать и живущему в нем плотному человеку, раздирается она, отсекая, отдирая от себя сладкую, но падкую на грех волю внешнего своего человека; раздирается бедное сердце его, само себя раздирая пополам, на куски; одни из них, как негодные, тем не менее, сродные ему, отдирает, бросает в миру, а другие несет, несет, как фимиам чистый, Христу своему.

О, как тяжело бывает иногда бедному сердцу, как рвется оно и страдает, буквально раздираясь пополам!»

Никогда ничего подобного я не слышала наяву, и не ожидала слышать; но теперь во сне говорила это с таким увлечением, что вся обливалась слезами. Отец игумен отвечал мне: «Да, не лишил тебя Господь Своей благодати. Тебе ли малодушествовать и унывать в скорбях? Мужайся, и да крепится сердце твое упованием на Господа». С этими словами он встал и снова благословил меня.

Я проснулась вся в слезах; в слезах уже не скорби, а невыразимой радости, надолго подкрепившей мои слабые силы.

(Это сновидение описала я и послала в Валаамский Монастырь.)

XXIV

Накануне получения назначения настоятельницей.

1881-го года, февраля 2-го.

Состоя в должности казначеи Званского-Знаменского монастыря лишь четыре года и от рождения имея лишь сорок лет, я не только не думала никогда о получении сана настоятельского, но, если бы кто мне и сказал об этом, то сочла бы это или за насмешку, или за дерзкую шутку.

В конце февраля месяца 1881 года видится мне следующий сон. Иду я где-то и подхожу к ржаному полю; рожь так высока, густа и хороша, что на редкость, а мне предстоит все это поле пройти, именно рожью, так как дороги никакой нет, а идти я должна. Жаль было мне топтать такую роскошную на вид рожь, но, уступая необходимости, я пошла. Тут я стала замечать, что колосья ржи хотя и большие, но почти

пустые, они перезрели, и зерно вытекло; я подумала с удивлением: «Какой же это хозяин настолько беспечный, что сам себя лишает такой драгоценности, не выжав своевременно?» Хотя и никого не было видно нигде, даже на далеком расстоянии, но мне кто-то (невидимый) ответил на мои мысли: «Тебе предназначено выжать все это поле». Это ужаснуло меня: как, подумала я, могу я выжать все поле, когда я и вовсе не умею жать? Между тем, с этими размышлениями, я проходила этой рожью все дальше и, наконец, дошла до конца его: раздвинув последнюю долю ржи, остававшуюся передо мной, руками, я увидела, что поле уже кончилось, и тут же, сряду, начинается огромное пространство воды, которому и конца не видно; но я почему-то знала, что это вода наливная, а не самобытная, что тут — луг, сенокос, затопленный временно, и что поэтому, имея под ногами твердую почву, идти этой водой безопасно, и я пошла; между тем оказалось довольно глубоко, чем дальше, тем глубже, и я стала бояться утонуть, так как плавать не умею, а вода покрывала меня по шею. Вдруг сверху, как бы с неба упал прямо мне в руку (правую) настоятельский посох, и тот же голос, который говорил мне о ржи, снова сказал при падении посоха: «Опирайся на него, — не потонешь». Действительно, с помощью этого посоха, я шла далее водой, и, наконец, вода стала мелеть, скоро показался луг зеленый, и невдалеке белокаменная ограда, в которой виднелись храмы и корпуса, то есть монастырь. Из храма выходил крестный ход, направлявшийся в те ворота, к которым подходила и я, опираясь на посох. Почти в самых воротах мы встретились, певчие запели входное «Достойно есть», и крестный ход вместе со мной направился обратно к храму. Этим сновидение кончилось. Пришедши по обычаю утром к матушке игумении своей, которая была мне и вос-

приемной при постриге матерью, я рассказала ей этот сон. Матушка игумения всегда была как-то нерасположена ко мне, она почему-то всегда усматривала во мне свою соперницу или нечто вроде ее. Совесть моя не укорила меня ни разу ни в чем против нее; я всегда старалась быть не только исполнительницей в своих обязанностях, но нередко делала и выше своих сил и обязанностей; так, например, подметив, что она старается отстранить меня от исполнения прямых обязанностей казначеи, я старалась в угождение ей исполнять самые черные и вовсе незнакомые мне работы: бывало, надену рабочие сапоги, подпояшусь по рабочему кафтану веревкой и поеду или пойду в лес с работниками для надзора за рубкой проданных им бревен; иногда в течение целого дня принимаю на берегу реки Волхова дрова, проданные монастырем, или сижу в кирпичном сарае при укладке кирпича рабочими и т. п. Но и при этих самоотверженных трудах я не была лишена самых колких и едких оскорблений со стороны матери игумении: когда по принятии дров или леса, или кирпича, или чего-либо, я приходила к ней с отчетом и за расчетом мужиков, то, прежде чем выдать деньги, она посылала работника монастырского проверить мою приемку. Между тем, я говорю перед Богом, что делала все по совести чисто и честно.

Нередко она посылала меня и за сбором на месяц или на известное время в разные города, преимущественно же в Петербург. Когда мне Господь посылал хороший сбор, и я привозила ей многое, то она решительно всегда говорила мне, что я это сделала, то есть потрудились, не ради Бога, то есть не ради послушания и усердия к делу, а просто «из тщеславия», для похвальбы. Когда же случалось привозить поменьше, то беда моя была еще больше. От училища, быв-

шего при монастыре, в котором я была утверждена «помощницей начальницы», она меня совсем отстранила, между тем, как училищное-то дело мне, как получившей образование, и было вполне подходящее. Пред начальством же мое отстранение она мотивировала разными моими недостатками.

Вообще, горькую чашу пила я в этой должности — казначеи; нередко боялась я вовсе лишиться рассудка, когда, углубившись в суть всего настоящего, не понимала причины или цели всех неправд человеческих и ужасавших меня поступков. Одно только, чем могла я себе объяснить все поведение матушки игумении по отношению ко мне, это то, что она, как женщина простого сословия, лишенная малейшего образования, видела во мне более себя образованную и развитую личность, и хотя и без малейшего с моей стороны повода, опасалась меня и старалась от меня избавиться. Для меня же это было тем еще тяжелее, что я крепко любила ее, особенно с тех пор, как она стала для меня восприимной матерью.

В описываемое мной утро, когда, пришед к ней, я простодушно рассказала ей свой сон, она насмешливо и колко ответила: «Поздравляю вас, вам дали посох, теперь вы уже игумения», — и смеялась надо мной. Горько поплакала я и в это утро, вышед от нее; но потом, занявшись делами, забыла и горе, и сон. Вечером, часов около четырех, подали матушке игумении телеграмму от митрополита Исидора, предписывающего немедленно прибыть казначее в Петербург к нему. И этот вызов был для назначения меня начальницей Леушинской женской общины, в то время не только неблагоустроенной, но даже предназначавшейся к закрытию, если окажется недоступным ее благоустройство. В течение шести лет там переменялись три начальницы, по скудости средств

существования и трудности дела. Вот куда судил меня определить Промысл Божий. Со креста на крест!

XXV

Заступничество Леушинской обители Царицей Небесной и св. Иоанном Предтечей.

Для того, чтобы описываемое событие было более удобопонятным, необходимо предварительно сказать несколько слов о состоянии самой обители в то время, когда я вступила в управление ей, в 1881 году. В предыдущем рассказе я объяснила обстоятельства моего назначения начальницей сей Леушинской общины, дотоле совершенно мне неизвестной, даже и по имени. Митрополит Исидор знал меня лично, впрочем, один только раз побеседовав со мной, а более — по отзывам других, но так ли или иначе, считал меня способной к делу. Это мнение свое он высказал мне, между прочим, отправляя меня в Леушино, словами на мое указание моей еще молодости для занятия такого поста: «Старому там и делать нечего; эта община требует умного распоряжения, деятельного надзора; она мне надоела, вот уже четвертый год, я тебя четвертую назначаю, а если и ты не сделаешь ничего полезного, то я ее закрою; одно только может быть, что ты там соскучишься, ведь там — глушь, пустыня». Но не глушь и одиночество сломили меня в Леушине, а вмешательство мирского семейства купца Максимова; землю под эту общину купили они, почему и считали себя полновластными распорядителями и вмешивались во все дела, даже самые пустяшные. Были и из числа сестер склоненные ими на их сторону, которые и передавали им все случавшееся в искаженном виде, сообразно со своими взглядами, а особенно назирали и перетолковывали все поступки и распоряжения начальни-

цы. Понять правильности ее действий они не могли, потому что сами они были деревенские, даже безграмотные, никогда и не слышавшие о правилах монастырской жизни. Главное же чувство, руководившее ими, было чувство зависти; по времени поступления своего в общину они были старшие и считали, что право начальствования и управления общиной принадлежать должно им, а не другой личности, «неведомо откуда пришедшей», как они выражались, и критиковали все распоряжения начальницы, жаловались Максимовым, а те, в свою очередь, митрополиту, и бедным начальницам приходилось до такой степени трудно, что они предпочитали удалиться в свои прежние монастыри. Та же участь постигала и меня, даже еще и в высшей степени: враждующая партия и сами Максимовы с первого же раза увидели во мне более трудную соперницу, со своей стороны и их поступки более и яснее понимающую и, вероятно, опасаясь за себя, решились действовать против меня всеми силами своей злобы, приговорив на свою сторону и местного священника общины. Я сразу поняла трудность своего положения; а главное, зная, какими гнусными клеветами они осыпали прежних начальниц для того, чтобы выжить их, я опасалась и за себя; я была по летам еще очень молода, сравнительно с прежними, и меня могли они еще более очернить и оклеветать перед начальством, что могло повредить мне на всю жизнь. Я видела себя как бы между двух дорог поставленной: или идти напролом всех трудностей, самоотверженно решиться понести все и клеветы, и напасти, чтобы с Божией помощью, победив все, исправить и упорядочить обитель, как следует, или же, из сознания своей к сему немощи, не вдаваться в дальнейшую опасность, и скорее утекать от такого зла, тяготевшего надо мной во всех его видах и ужасах.

По долгом и здравом о сем размышлении, я не могла не сознать свою немощь для такого великого дела, как устройство обители, при всех противостечающихся тому обстоятельствах, ибо, кроме еще всех неприятностей, и материальных средств у общины не было ни гроша, и я решилась во что бы то ни стало удалиться из обители, объяснив все откровенно митрополиту, и просить его об увольнении. Исхода иного я не видела; крест, выпавший на мою долю, ощущался непосильным; извилины и происки хитрости противников на мою прямую, открытую душу влияли неотразимыми ударами; я ужасалась, скорбела, и, наконец, выбилась из сил; решимость моя оставить обитель была бесповоротна, и я лишь выжидала случая, как бы за каким-либо предлогом уехать из обители и уж больше не вернуться.

И вот однажды видится мне необычный сон.

Вся монастырская площадь как бы объята пламенем; по небу ходят грозные огненные тучи; одна из них как бы спускается на корпус, стоявший против того, в котором жила я (где была и домовая церковь), и в то же мгновение тот корпус вспыхнул пожаром. Ожидая такой же участи и нашему церковному корпусу, я в ужасе отклонилась несколько от окна, в которое смотрела, и, обернувшись по направлению других келий, где тоже смотрели в окна сестры, сказала им: «Молитесь, сестры, вот одно мгновение, и наш корпус загорится, и церковь Божия сгорит, и мы все сгорим, молитесь!» Сказав это, я снова обратилась к окну; но каково же было мое удивление, когда я увидела вместо оконной рамы (сейчас лишь бывшей тут, в которую я и смотрела) икону, стоявшую лицом на монастырь, а ко мне — доской. Чтобы узнать, какая это была икона, я стала заглядывать сбоку; вдруг икона стала сама поворачиваться понемногу и стала как бы поперек

окна, ликом обратясь ко мне, стоявшей по левую ее сторону. Я увидела, что это икона «Скоропослушницы» Божией Матери, и к довершению моего изумления, у Нее в ножках лежала живая глава святого Иоанна Предтечи, с которым Она, Владычица, громко разговаривала.

Я ясно слышала этот их разговор и видела, как уста живой главы шевелились, произнося слова, но разобрать, слышать разговора не могла. Вдруг Царица Небесная обратилась ко мне и говорит: *«Чего вы все смущаетесь, и ты чего боишься?»* И с этими словами Она подняла Свою правую ручку и, ей указывая на главу Предтечи, прибавила: *«Мы с ним всегда храним Свою обитель! Не бойся, больше веруй!»*

Объятая неизъяснимой радостью от этих слов, я бросилась поцеловать эту ручку, пока она живая, и в трепете воскликнув: «Владычица!» — я облобызала эту ручку, но уже не живую, а изображенную, как и вся икона.

В ту же минуту я проснулась; легко, отрадно было у меня на душе, как будто никакого горя и не было. Слезы радости лились, и я вся трепетала. Я, очевидно, понимала, что Она хранит Свою обитель вместе с Предтечей, коему посвящена эта обитель (Предтеченская), и, укрепившись верой, я твердо решилась все терпеть и трудиться для пользы святой обители, хотя бы и умереть пришлось для сего, но самовольно не оставлять обители и стараться упорядочить и благоустроить ее с помощью Самой Владычицы, в чем уже и не сомневалась.

Реки слез проливала я и после, достигая своей цели; я делала свое, а враг — свое, воздвигая на меня всякого рода гонения и беды, часть которых пояснится еще здесь в описываемых явлениях.

Крест

Однажды в этот период труда и скорбей первоначального благоустройства обители, я сидела вечером в своем кабинете одна; двери уже были затворены, все легли спать, а я, готовясь к тому же, сидела, сама не знаю, почему мешкая ложиться. Я не молилась, и не то чтобы о чем раздумывала, а так тяжело мне было, очень тяжело, и я как-то безмолвна была и мыслью, и душой. Вдруг, очевидно, не во сне (ибо я не спала, как сказано, а просто сидела, вполне сознавая все окружающее меня) ясно увидела я среди кельи моей крест деревянный, такой большой, что почти до потолка от пола; в том месте, где соединяются долевые и поперечные части, было как бы перевязано кровавой чертой наискось; увидев крест, я нимало не смутилась; а перекрестившись на него, невольно подумала: «Какой большой, где же мне его снести». Вдруг как бы с самого этого креста услышала я слова: *«Понесешь и снесешь, сила бо Моя в немощех совершается!»*

Это сочла я или подкреплением мне в моей многоскорбной жизни, или же предзнаменованием новых и еще больших скорбей. Хотя и грустно мне стало, но я благодушно приняла это, будучи готова на всякое страдание ради блага обители, и ради прославления Имени Божия чрез нее.

XXVI

Чудесное исцеление от тяжкой болезни святым Архистратигом Михаилом в 1883 году.

С самого начала моего вступления в управление Леушинской общиной, я всегда относилась к митрополиту Исидору откровенно и чистосердечно. Ему много на меня клеветали,

чернили меня и злословили; не знаю, в какой степени он верил этому, но меня всегда принимал, спрашивал обо всем, иногда даже словами: «Скажи мне как бы на исповеди»; и я говорила по чистой совести, не скрывала и своих ошибок, без которых тоже не обходилось. Он и побранивал меня, но больше утешал, напоминая мои монашеские обеты терпеть все.

14 января 1883 года приехала я в Петроград и пришла к нему с отчетами за истекший год, которые он сам приказал мне подать ему лично для большей скорости и краткости, чем через Консисторию.

Владыка принял меня милостиво и пригласил сесть. Просмотрев отчеты, которые в то время были еще так немногосложны, он сделал вид недоумения, что я не могла не заметить. Стал спрашивать меня и на словах обо всем, по нескольку раз; наконец, сказал: «Я тебе, пожалуй, и верю, но вот посмотри-ка, что мне на тебя написали; тут и запутаешься с вами: ты пишешь и говоришь одно, а тут совсем другое».

С этими словами он подал мне две принесенные им бумаги и сказал: «Не спеша, рассмотри их, и по совести напиши мне на них ответ. Я верю тебе, — добавил он, — но на бумагу надо бумагу же».

Тут Максимовы на тебя пишут многое, а тут и общинки те, которые вышли у тебя из общины, жалуются, что ты их выгнала. Так вот прочти и дай мне ответ, чтобы им же заградить уста».

Надобно сказать, что в конце минувшего года, 22 октября, странницы Максимовы, о которых я упоминала, видя, вероятно, безуспешность своих против меня козней, выдумали новую штуку: однажды при сестрах в трапезе объ-

являют они мне, что в числе семи человек они уходят из общины. Конечно, я удивилась такой неожиданности, но, ничего не подозревая, подумала, что это и слава Богу, хоть других перестанут смущать. Впрочем, они стали сманивать и других сестер, из коих никто их не послушал и не ушел. Так как они были приукажены к общине, то я и донесла обо всем преосвященному викарию, сообщая о случившемся и прося разуказать их. Мудрый архиерей Варсонофий понял дело лучше меня и частным письмом посоветовал мне взять с них подписку, что они уходят самовольно, после чего и обещал прислать им увольнительные. Но бунтовщицы эти, тоже, видно, смекнув дело, наотрез отказались дать подписку, и, не дождавшись увольнительной им бумаги, ушли самовольно. Мне теперь ясна стала их затея, но делать было нечего.

Настало самое ужасное, самое тяжелое для меня время. Буянки ушли, ночью отправляя свои пожитки, точно чего боялись днем; письма и посланники заполонили монастырь, в то время еще общину. Всех приглашали расходиться, говоря, что меня сошлют чуть не в Сибирь; благодетели прекратили свою помощь общине, считая ее предназначенной к разорению. Вся община волновалась, мутилась; на общественных трудах не было никакого послушания, ни порядка, все считали себя на пороге выхода, совещались, волновались, и, что происходило, описать невозможно.

Впрочем, большинство сестер меня жалели, а иные и со слезами утешали меня, и как ни волновалось все общество, но, кроме семи помянутых буянок, ни одна не ушла из общины. Так шло время, и мало-помалу волнение стало утихать хотя по внешности. Максимовы, служившие корнем всего зла и смут, действовали деньгами, начав являть свои милос-

ти, чтобы склонить на свою сторону и сестер, и священника, уже сдавшегося им, и даже самого благочинного, бывшего игумена Моденского монастыря, который сам мне об этом сообщал, показав даже письма Максимовых. Им только того и хотелось, чтобы общину закрыли, и земля, таким образом, осталась бы снова их собственностью, на которой и устроили бы они сыроварню, так как они торговали в Петербурге сыром и маслами, почему и от общины, и от меня требовали доставлять им масло; очевидно, и я, как и мои предместницы, на это не сдавались.

Между тем общинки, вышедшие, написали на меня митрополиту прошение, что будто я их выгнала из общины без вины. Максимовы подали на меня прошение другого рода, самое злостное, клеветливое, ни слова одного правды не было в нем.

Вот эти-то два прошения и подал мне Владыка митрополит, когда я 14 января пришла к нему.

При Владыке мне не удалось прочесть этих бумаг; вышед от него, я сряду же поехала на квартиру, где остановилась, к потомственному почетному гражданину Ефрему Никифоровичу Сивохину; это семейство всегда любило и уважало меня, и в моих многих скорбях и трудностях в Леушине принимало большое участие. У них я нашла целое общество, уже сидевшее с ними за обедом, за которым было оставлено место и мне, так как меня они ожидали. Был у них серебряник Хархаров с женой и наш общий духовный отец Сергиевской Пустыни духовник, иеромонах Герасим. Все сидевшие за столом были как бы «свои люди», почему и на вопросы их о моем замедлении я сказала всю правду и показала привезенные бумаги, которые прочесть давно уже мучило меня любопытство. Начался обед, а с ним и чтение прошений на

меня; читал их Хархаров, так как я сама, начавши, продолжать не могла.

Во время чтения таких бессовестных клевет на меня и на праслин, разумеется, тысячи укоризн сыпались на Максимовых; отец Герасим, хорошо понимая, как это должно было повлиять на меня, обратил, прежде всего, всеобщее внимание на милость ко мне Владыки митрополита, не давшего никакого хода этим прошениям, а мне же их вручившего. Я и сама это хорошо понимала и ценила, но горькие мысли роились одна за другой. «Что же, — думалось мне, — теперь отдал он мне, может быть, и в самом деле верит мне, но враги мои не угомонятся, и опять будет то же, и без конца, без конца». Плакать я не могла; как камень лежал на сердце, и состояние мое было вполне безотчетно.

Просидели мы за столом более двух часов, все толковали, и все душевно жалели меня, даже плакали; особенно жалел меня отец Герасим. Стали выходить из-за стола, встала и я, но тотчас же опять опустилась на стул, — ноги не слушались, не могли идти. Кое-как с помощью посторонних, около стенки добралась я до своей комнаты и легла на постель отдохнуть, меня сильно клонил сон, и я стала приходить в какое-то бессознательное состояние и равнодушие. Я сряду же заснула, так что все удивились и признали этот сон ненормальным. Это было в третьем часу пополудни; в седьмом часу меня насилу добудились к чаю. Я проснулась, но, к ужасу моему, не могла шевельнуть ногами, они отнялись совсем. Послали за доктором, жившим наверху в том же доме; он признал нервный паралич, советовал бы попробовать лечение электричеством, но боялся, что крайне ослабленная нервная система не выдержит. Между тем послали за своим домашним доктором Карпинским, который нашел то же и посоветовал

оставить все до завтра, советуя успокоиться вполне. Но я и без того ощущала в первые дни болезни какое-то спокойствие или, вернее, бесчувствие: ни скорби, ни тревоги, ни даже ясного воспоминания случившейся со мной напасти не чувствовала я. Точно в каком-то бесчувственном состоянии я находилась и этот вечер, и следующий день. На третий день я с утра лишилась и употребления рук, и они отказались служить и даже шевелиться. Но тут сознание моей беспомощности пробудило меня от оцепенения, и я как бы проснулась от своего равнодушия, стала снова скучать, плакать и чувствовать. Двенадцать дней пролежала я в квартире Сивохиных, но вот приближался день Ангела хозяина, 28 января, преподобного Ефрема, и я хорошо понимала, какой помехой буду служить во время праздника я, в своей неподвижности, не могшая двинуть ни рукой, ни ногой. Поэтому я стала подумывать о том, куда бы переселиться из квартиры благодетелей, которые ходили за мной, как за родной, нанимали докторов, платили за лекарства и прочее. Я была знакома с начальницей Свято-Троицкой общины сестер милосердия на Песках Е. А. Кублицкой. Я и попросила доктора Карпинского написать ей записочку — попросить взять меня к себе в общину. Он исполнил мою просьбу, и 26 января, в самый день моего Ангела (мирское имя Марии), чего никто не знал, меня вынесли на руках, внесли в экипаж и тихонько, как покойницу, повезли в общину, где тоже на руках внесли в самый верх в палату, где я и пролежала еще пять недель.

Сивохин, между тем, по моей просьбе, съездил к митрополиту и объявил ему о случившемся со мной. Владыка сердечно пожалел меня и сказал: «Ведь я не думал, что она так горячо это примет; я знаю, что она не виновата, что это все клевета, для этого и надо было дать ответ клеветущим». Он

взял назад оба прошения без всяких ответов на них, так как я не могла писать, и как кончилось это дело, я не знаю, ничего и не слыхала более о нем.

Я лежала в больнице, окруженная всеобщим вниманием. Сам митрополит присылал иногда меня навещать и посылал мне свое благословение. Посланными от него были два раза отец архимандрит Исаия (бывший эконо́м) и раз секретарь его В. П. Николаевский. Но я невыносимо страдала: к первой болезни присоединилось еще воспаление легких.

Наступил Великий пост; пение сестер доносилось до меня из церкви по коридорам, но оно лишь больше волновало меня; я переносилась мыслью в милую и дорогую мне общину, для блага которой я столько терпела, и теперь уже, лежа между жизнью и смертью, не надеялась больше увидеть ее.

Наступала весна, и надо было предполагать, что скоро начнут расходиться реки; в таком случае мне нельзя было и думать попасть домой раньше мая, ибо надо было от Рыбинска ехать лошадьми сто верст, причем переезжать Волгу и Мологу.

Между тем из общины беспрестанно писали письма сестры, в самое смутное время оставшиеся одни, без меня, волнующие разными тревожными слухами и обо мне, и о себе самих. Буянки, поселившиеся невдалеке от общины, где Максимовы, как бы нарочно, купили им землю, пропустили и тут о болезни моей самые бессовестные и нелепые слухи; разумеется, им не верили, потому что были и другие источники сведений, но, тем не менее, все волновались, скорбели, а иные и вовсе оставили теперь общину, желая избавиться от неперестающих тревожений и смут.

Мне надо было решаться, или такой же неподвижной больной (по миновании, впрочем, воспаления) быть перевезенной в обитель, где и умереть мне представлялось отраднее, чем

в стенах больницы, или же порешить остаться в ней до мая месяца, то есть до пароходства. Я избрала первое, тем более, что и доктора все говорили, что первое условие моего выздоровления, если только оно возможно, — покой и спокойствие.

В первых числах марта меня выписали из больницы и таким же способом, каким и везли туда, частью на руках, частью в экипаже доставили на прежнее место к Сивохиным и положили на ту же постель, где и прежде лежала. Впрочем, я могла уже несколько владеть руками, и то не кистью руки и не пальцами, а всей рукой, но и то меня радовало и подавало надежду хотя и на нескорое выздоровление.

Решено было пробыть мне дня три или четыре у Сивохиных, пока шили мне необходимую теплую одежду на руки и на ноги, и шли другие приготовления. Ноги мои все еще не владели и не двигались. Между тем дали телеграмму в общину, чтобы выслать лошадей и простые сани, в которые меня можно было бы положить, и чтобы встретили меня у самого Рыбинского вокзала.

От тревог ли приготовления или от более ясного воспоминания всего случившегося в монастыре, но мне, к ужасу моему, сделалось гораздо еще хуже, и именно накануне дня, назначенного для отъезда. В одиннадцатом часу ночи уже на день отъезда пришли два доктора, Карпинский, а другой из Троицкой общины, и объявили оба, что выезд немислим.

Все остановились на этом и разошлись на ночлег. Я в своей комнате оставалась одна с послушницей Надеждой, которая в то время находилась в Петербурге для сбора, и, за отсутствием моей келейницы, предназначалась сопровождать меня в Леушинскую общину, и за эти последние дни она ночевала со мной в комнате для услуги. В эту последнюю ночь, в виду ухудшения моего здоровья, она лежала на полу, подле

самой моей кровати. И она, и все в доме уснули, наступила полная тишина. Я одна не смыкала глаз, как и в течение всей болезни, страдала бессонницей. Пробило 5 часов утра; я невольно подумала: «Вот уже 5 часов, а в семь все подымутся, а я еще и глаз не смыкала». При этой мысли я заплакала, горько заплакала и, не имея способности утереться платком, повернула голову и стала вытирать лицо об подушку. Тут совершилось нечто необычное. Во сне оно не могло быть, потому что я не засыпала. Вернее, в каком-то забытье, или, уже не понимаю, как.

Мне кажется, что я сижу с кем-то вдвоем и разговариваю, именно о том, что мне необходимо иметь икону Архангела Михаила. В это время, в дверь, находившуюся прямо против меня, входит кто-то, неся в руках икону Архангела Михаила, и остановился недалеко от двери. Несший ее был юноша, очень, очень красивый, белокурый, волосы золотистые, длинные с пробором посредине, как послушник юный, одет в голубую бархатную рясу.

Увидев нужную мне икону, я подошла к несшему ее, и, не долго думая, сказала: «Отдайте мне эту икону; она мне необходима, а искать ее я не могу, видите, я без ног, и ходить не в состоянии, отдайте, прошу вас!»

Юноша, вместо ответа, спросил меня весьма милостиво, но серьезно: «А знаешь ли, кто держит эту икону?»

В смущении я взглянула на него и увидела, к изумлению своему, что оба лица, как на иконе, так и лицо юноши, были совершенно тождественны. Но на иконе Архангел Михаил был в воинской одежде, с огненным мечом, как и всегда изображается, а юноша был в рясе, что мне и показалось неподходящим; тем не менее, видя сходство лиц, я отвечала несколько смущенно: «Уже не сам ли Великий Архангел?»

Как бы отвечая на первую мою мысль о рясе, он сказал: *«Ангелы — послушники воле Отца Небесного»*. Далее продолжал: *«Икону мою ты получишь, но не смущайся немением ее, поезжай с Богом в монастырь твой (а тогда еще была община, а не монастырь), Архангел будет с тобою»*.

С этими словами он осенил меня крестообразно иконой, я, перекрестившись, поклонилась ей до земли и приложилась. Он, как мне помнится, осенил меня иконой три раза, повторяя те же слова: *«Поезжай с Богом в монастырь, Архангел будет с тобою»*. Все три раза я поклонялась в землю и прикладывалась.

После третьего осенения я как бы очнулась, спустила сама с постели ноги, два месяца не двигавшиеся, надела на себя какую-то одежду, до сего времени не двигавшимися руками, и пошла по коридору в умывальню, где и умылась. Умывшись и не найдя своего личного полотенца, ибо его и не было, я направилась обратно в свою комнату, где и стала искать полотенце.

Все это совершила я в каком-то полусознании, не понимая, что со мной. Вдруг проснулась послушница Надежда и, увидав меня стоящую на ногах и притом мокрую лицом и руками, испугалась и, не зная, что подумать, схватила меня за ноги и громко вскрикнула: *«Матушка, что с Вами?»* Тут только я пришла в себя и, вспомнив, что за час времени перед этим я лежала без движения, вспомнила и виденное и уразумела, что сам Архангел Михаил исцелил меня. На восклицание Надежды и я воскликнула почти те же слова: *«Надежда, что это, что со мной случилось?»* Я села на постель и рассказала ей все случившееся. Обе мы плакали слезами истинно духовной радости и умиления.

Я оделась и, когда собрались все в столовую к чаю, вышла и я ко всеобщему и моему лично удивлению. Я чувствовала

себя в силах и идти, и ехать; ноги двигались почти свободно, только в них оставалась какая-то тяжесть, точно они насыпаны были песком или чем тяжелым.

Так совершилось мое исцеление в один час или того кратче после двухмесячной тяжелой болезни.

В тот же день на часовом поезде пополудни, я выехала из Петербурга в Рыбинск. На всех платформах, где надобно было, выходила и входила сама и доехала благополучно. Я веровала, что сам Архангел сопутствует мне, и мне легко было на душе.

Дивны дела Твои, Господи! И ни едино слово довольно есть к пению Твоих чудес!

* * *

Болезнь моя эта была как бы венцом, концом если не всех, то, по крайней мере, более сильных страданий, как моих лично, так и всей Леушинской общины. Не знаю, как и что ответил Владыка митрополит Максимовым, только они стали меньше вмешиваться в дела общины, и мало-помалу влияние их стало ослабевать.

Сестры не стали им верить, успокоилась вся обитель, и я могла смелее и самостоятельнее распоряжаться в делах управления.

На следующий 1884 год, по приглашению моему, прибыл к нам в обитель преосвященный Анастасий, викарий Новгородский⁴⁵, для освящения каменной ограды, которой я оградила обитель; в сущности же это был лишь предлог для приглашения Владыки, а на самом деле мне хотелось, чтобы хотя один достоверный свидетель, как очевидец, мог передать митрополиту всю правду о нашей обители. Мак-

⁴⁵ Преосвященный Анастасий (Добрадин), умер архиепископом Воронежским — *Прим. Ред.*

симовы, утратив свое прямое влияние, исподтишка не переставали наушничать на меня Владыке, что приходилось мне нередко узнавать из его вопросов, предлагаемых мне. Чтобы положить конец этому недоразумению Владыки, который по преклонности лет не мог сам посетить нас, я и обратилась к его викарию.

Вероятно, и Владыка митрополит, отпуская викария, предписал ему всестороннее внимание ко всему, во всех отношениях в общине. Преосвященный Анастасий прожил у нас трое суток, осмотрел все, где только было возможно: ходил по всем кельям, разговаривал почти с каждой сестрой, обошел все амбары, погреба, конюшни, все-все, и поля, и луга, и лес.

Он очень остался доволен, и, собрав всех сестер, много поучал их, говоря и обо мне, и об устройстве обители, и обо всем.

Его отзыв вызвал и благодарность митрополита ко мне, и дело упрочилось и пошло настолько успешно, что на следующий 1885 год я уже осмелилась подать прошение о переименовании нашей общины монастырем, что и совершилось в сентябре того же 1885 года. 1 октября того же года меня посветили в сан игумении. Тут же я подала прошение о разрешении постричь в монашество некоторых сестер.

XXVII

Первое пострижение в монашество.

8 ноября 1885 года.

Получив разрешение постричь в монашество некоторых сестер, я избрала для совершения пострига, который был тем важнее для обители нашей, что он был еще первый, дотоле небывалый во всей здешней местности, день 8 ноября, когда

совершается празднование святого Архистратига Михаила и всех Сил бесплотных. Выбор этот имел двоякую цель: чин монашеский есть чин ангельский, почему и прилично положить ему начало в день его первообраза, а день памяти святого Архистратига Михаила потому, что в деле моего исцеления и всем дальнейшем моем служении на пользу обители я была обязана Ему, Великому моему Заступнику.

Радостен и необычен день этот был для всех сестер обители. Все они видели уже на деле, что обитель их окрепла, и окрепла настолько, что вот совершится и венец их трудов — пострижение, чего, волнуемые долговременными скорбями и неурядицами, они не могли ожидать.

Я ощущала неземную радость в сердце, и волей-неволей должна была быть восприимчивой матерью первым постриженницам, так как, кроме меня, монахинь не было.

Когда окончился чин пострижения, отдав посох девочке, я пошла на правый клирос, ибо во все первое время я сама и учила клиросных пению, и управляла хором, иногда в торжественные богослужения.

Запели Херувимскую песнь; сердце мое трепетало радостью; но я сдерживалась и продолжала регентовать, чтобы и не выдать себя, и не нарушить внимания других. Запели «Всякое ныне житейское», я ненамеренно подняла глаза кверху, и увидела что-то, чего не только описать, но и вообразить последовательно не могу; увидела, будто бы и наверху храма, над солеёй, вверху перед Царскими вратами совершается тоже священнодействие, — как бы идет Спаситель, окруженный Ангелами, что-то совершается, но что и как, я решительно не могу передать; хотя и видела и слышала нечто, но необычное. Я при начале видения чувствовала себя как бы выступившей из обычного состояния; как до-

пели Херувимскую, как совершился Великий вход, я ничего не видала и не понимала; как передался камертон из моих рук в руки регентши, я тоже не знаю и не помню.

Пришла я в себя, когда пели последние прошения ектеньи перед Символом Веры; слезы катились из глаз по всему лицу. Тут я заметила, что все на меня смотрят в недоумении, как бы в страхе; вероятно, они, то есть певчие, подумали, что мне дурно стало, потому что стали спрашивать, что со мной, что я вся изменилась в лице, и предлагали сесть. Чтобы скрыть свою тайну, я подтвердила их мысль и села, чтобы и действительно «прийти в себя». Что было со мной, и что виделось мне, вполне и сама не могу выяснить.

XXVIII Явление Пресвятой Богородицы на месте постройки храма.

27 ноября 1886 г.

Давно, давно, с самого юного возраста моего, я имела сильное желание посетить святыни Киева, особенно Печерской Лавры. Но исполнить это заветное желание пришлось мне не ранее, как в 1886 году; 1 ноября сего года я приехала в Киев, где пробыла ровно две недели, то есть до 17 ноября. Главной целью поездки моей туда теперь составляло не одно исполнение желания, а более — то обстоятельство, что я приступала к закладке каменного храма во вверенной мне еще новой обители, до того времени довольствовавшейся лишь небольшой домовою церковью. Зная, что постройка храма решительно необходима, зная и то, что средств у меня на то нет никаких, я почему-то надеялась, что Сама Царица Небесная пошлет мне и средства, и выстроит храм во славу

Ее и Сына Ее, как чудно совершила это Она в Киеве, соорудив Великую Лаврскую Церковь. Правда думалось мне, что теперь не те времена, не те люди, и мы-то, храмостроители, не Антонии. Но все же думалось мне, что хотя и все теперь не то, что было тогда, но Бог-то все Тот же, Неизменный, Всемогущий и строящий на пользу рабам Своим. Мне очень хотелось помолиться и как бы получить благословение на это великое и многотрудное для меня дело, именно в той чудной Великой Церкви Лаврской.

И, действительно, я там помолилась, как ни раньше, ни после нигде не маливалась, дважды приобщилась Святых Таин — раз в Великой Церкви и раз в пещерной преподобного Антония; и укрепившись верой и надеждой на помощь свыше, я вернулась в обитель на 25 число ноября.

Физически я была вся разбита дорогой, ехав в третьем классе; но и там мне пришлось сидеть между лавочек, потому что, везя с собой двух маленьких сироток, их укладывала на лавочку, а сама ютилась на ящике между ними. По этой причине физической немощи, я не могла первые дни идти в церковь. С вечера на двадцать седьмое, день Знамения Богоматери, я решила непременно на утро идти к утрени. Озабоченная этой мыслью, я проснулась в начале четвертого часа, а так как утрени у нас бывает в 5 часов, то, одевшись и приготовившись совсем, легла еще полежать и заснула.

В этот краткий промежуток до звона к утрени мне и привиделось следующее чудное явление.

Все мы в нашей домовой церкви; пришли, чтобы отсюда крестным ходом идти встречать идущую к нам Царицу.

У всех у нас в руках свечи зажженные, а у меня в руке, кроме моей зажженной свечи, еще толстая необожженная восковая свеча, которую мне и приказано, когда придет Ца-

рица, то зажегши от своей горевшей свечи эту толстую свечу, подать Ей, Царице.

Все мы крестным ходом и вышли на монастырскую площадь, где ныне храм, и остановились в ожидании прихода Царицы. Долго, долго Ее не было, так что у нас от свечей оставались в руках лишь маленькие огарки.

Вдруг вдали, по направлению к святым вратам, на горизонте показалось как бы восходящее солнце, между тем как был яркий полдень, и солнце светило над головами. Мы стали вглядываться в это, и увидели, что оно не подымается как обычно солнцу, а, идя по земле, подвигается по направлению к нам. Когда этот солнечный шар подошел ближе, то ясно можно было разглядеть, что он овальный, то есть продолговатый, и ядро света заключается в самой середине, в центре его. Когда оно подошло еще ближе к святым вратам, то уже ясно все увидели, что это Царица Небесная (во весь рост) шла к нам. Она-то и была ядро света солнечного, а круг, образовавшийся около Нее, были лучи. Как только Она взошла в святые врата обители, над Ней в небе запели Невидимые Силы «Достоинно есть». Эту же песнь запели и сестры, ожидавшие Ее, зазвонили все колокола, и произошло нечто необычное. Между тем я раздумывала: «Так вот какая Царица пришла, не земная, как я ожидала, а Небесная Царица; так подавать ли мне Ей свечу, приготовленную для Нее, или нет?»

На эту мысль ответила следующая мысль: «Да ведь тот, кто дал такое распоряжение (а кто это был, я не знаю), может быть и знал, какая Царица придет; да притом же «истинное послушание не рассуждает»; мне велено подать, и я должна». Решив таким образом, я зажгла приготовленную большую свечу от своего горевшего огарка и, подошед к Царице, низко поклонилась Ей, но не в ноги, потому что обе мои руки

были заняты, и молча со страхом и благоговением подала Ей свечу зажженную. Но к удивлению моему, Она, милостиво смотрев на меня, подняла ручку и протянула ее не к подаваемой Ей большой свече, а к моему огарку, который я держала в левой руке, и при этом сказала мне: *«Мне угодна свеча, горевшая в твоих трудах для Меня, а эту свечу (указав на большую) возьми себе и снова трудись с ней, пока Я опять приду на это место»*. Я, объятая благоговением, не могла ни слова вымолвить и молча поклонилась Ей, взявшей из левой моей руки огарок. Тут я снова услышала пение (которое или за разговором с Царицей уже не слыхала, или же действительно оно прекращалось, не знаю) и проснулась, объятая трепетом благоговейным; из этого я поняла, что Царица Небесная как бы благословила своим посещением место, назначенное для Ее храма (храм во имя Похвалы Богородицы), ибо Она на этом именно месте стояла; благословила и труды мои, приняв прежние и указав новые, большие и труднейшие, которые предстояли мне в деле созидания храма Ее.

Слава Милостивому Ее благоволению ко св. обители нашей!

Подкрепившись верой и надеждой на помощь Царицы Небесной, я как-то смело, даже больше чем смело, приступала к постройке храма. По смете архитектора он должен был стоить около 180000 р.с., если не более; а у меня к началу дела было лишь 240 рублей и горсть материалов, составлявших лишь сотую долю требуемых. Бог Один видел и знал, как металась и страдала душа моя, но, видя необходимость постройки и не предвидя ниоткуда и в дальнейшем помощи, я решилась приступить к делу, хотя бы мне пришлось на нем и душу положить, то есть убить окончательно и силы, и здоровье, которое, как я всегда думала, для того и дано нам, что-

бы мы трудились во славу имени Божия и в пользу ближним. Все равно, думаю я, ранее или позднее, а здоровье изменит, и жизнь угаснет; так лучше положить их в деле Божиим, чем так, наблюдая свой покой.

Но Господу угодно было совершить чрез меня грешную великое Свое дело: храм стотысячный, храм великолепный, выстроился в три года, и окончился в удивление всем и, тем более, в мое собственное удивление. Правда, каждая кирпичинка добыта моими слезами и самоличными многотрудными сборами, как и сборами чрез сестер, но и слава Богу за это все, благословил Он нам потрудиться ради имени Его Святого, но Сам и увенчал труды наши успехом. Скажу еще к большей ясности дела: тысячи одной не получила я нигде целиком, да и сотен весьма немного; а все больше мелкие «вдовичьи усердные лепты»; на них-то и выстроился стотысячный храм.

XXIX В Великой Церкви.

Во время этого многотрудного дела, построения храма, я, несмотря на все мое безусловное усердие, нередко падала духом. И вот Господь посылал мне грешной великое подкрепление своей благодатью, сообщаемой мне иногда (почему-то) в сонных видениях, как например:

Вижу я, что стою в Великой Церкви Киево-Печерской Лавры; церковь пуста, лишь на клиросе стоят певчие, (хоть они — не помню) и монах в мантии подошел к отворенным Царским вратам, где стала спускаться икона Успения Богоматери, причем певчие запели обычный кондак «Избранной от всех родов» и пр. По мере того, как икона спускалась, сердце мое стало ощущать благодатное чувство радости и благого-

вения, которое все усиливалось и усиливалось, как бы вливалось в душу мою, и, наконец, исполнило ее с избытком. Я пала на землю перед иконой, и от избытка объявшего меня чувства, неизъяснимого никаким словом, я думала, что душа моя не выдержит и оставит меня. Я проснулась; и кажется мне, что, если бы не проснулась, то не осталась бы жива. Чувство благодатное, святое наполняло мою душу, мне стало легко, светло на душе, я вся как бы обновилась, получив новые силы к продолжению своего дела, и это сладостное чувство долго не оставляло меня, недостойную. Разумеется, это сделано не ради меня, а ради великого дела, чрез меня грешную Самим Господом и Его Пречистой Матерью совершаемого.

XXX

«О, Всепетая Мати».

(Пред самым приездом Преосвященного Владимира).

Подобно сему описанному случаю, в другое время, именно в 1889 году, августа 31, совершилось со мной еще следующее и при следующих обстоятельствах: по многим хлопотам и делам обители, я была до крайности изнемогши и духом, и телом; к тому же случилось мне и всю ночь с 30 на 31 августа быть в дороге под сильнейшим дождем. Обогреться или даже отдохнуть мне было решительно невозможно, так как к вечеру того же дня 31 августа к нам должен был приехать наш архиерей викарный, Преосвященный Владимир⁴⁶, ездив-

⁴⁶ Впоследствии священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский (†1918 г.), причислен к лику Святых Русской Православной Церкви в 1992 г. — *Прим. ред.*

ший по обзору епархии. В десяти верстах от монастыря, где наше подворье и пароходная пристань монастыря, я должна была около четырех часов вечера встретить Преосвященного, так как и там он должен был обзреть нашу часовню, находящуюся на пароходной пристани. Возвратившись домой лишь в 6 часов утра и сделав зависящие от меня необходимые распоряжения для встречи высокого гостя, я обошла все в обители, доглядывая порядок, и в 2 часа должна была уже отправиться в дорогу для встречи Преосвященного.

Перед этим, чтобы хотя немного, уже не говорю, — отдохнуть, а просто вздохнуть, я, запершись в кабинете своем, прилегла на кушетку. Не могу достоверно сказать, задремала ли я, или просто только забылась, но хорошо знаю, что не уснула, потому что даже намеренно не хотела дать себе заснуть по краткости оставшегося времени, и вот что совершилось со мной.

С той стороны, куда лежала моя голова, вдали подплывает ко мне в облаках кто-то, чье все туловище скрыто в облаках, видна лишь головка прекрасного мальчика, белокурая, курчавенькая, и по сторонам ее видны плечики мальчика; эта головка плывет в облаках (но не высоко, а как бы в уровень со мной эти облака) и поет так хорошо слова «О, Всепетая Мати», — только эти три слова, не дальше; я прислушиваюсь и пленяюсь чудным пением. Головка подплывает ближе, повторяя те же слова, но на этот раз еще лучше, так что прихожу в восторг и думаю: «Нет, это не человеческое пение, так петь доступно только Ангелам». Наконец, певшая головка подплыла почти под самое мое ухо, и уже на этот раз ее пение, все тех же трех слов «О, Всепетая Мати», было невыразимо сладко и чудно. Я не могла выдержать, соскочила с кушетки прямо на колени лицом к образу Богоматери, по-

вторя слышанную лишь молитву, и звук певца как бы эхом отдавался в ушах. Я вся объялась благоговейным восторгом, слезы лились ручьем, и в душе обновились силы и бодрость. В пятиминутный отдых я совсем подкрепилась и духом, и телом на дальнейшие дела.

XXXI

Видение о. архимандрита Вениамина (настоятеля Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря) в сороковой день по его кончине.

30 сентября 1890 года.

В первых главах своих записок я сообщила, как довелось мне познакомиться с отцом Вениамином, бывшим в то время, когда я жила у родителей, настоятелем Боровичского Свято-Духова монастыря. По делам устройства своей обители отец Вениамин навещал и нашу усадьбу. Лучшими днями моими в тот безотрадный для меня год невольного томления среди мира были те дни, когда мне случалось видеться с этим уважаемым настоятелем. Напрасно и говорить о том, что я открывала ему свою заветную мечту об удалении в монастырь, свою скорбь о том, что меня в сем удерживали родители, и тому подобное. Он разумно утешал меня надеждой на Промысл Божий, говоря, что если внушение это мне от Бога, то Сам Бог и осуществит его, когда придет для того время, а что настоящее мое повиновение воле родителей безусловно и свято должно быть исполнено.

Когда, наконец, я вступила в монастырь, то и тут отец Вениамин не переставал назидать меня письменными наставлениями и вообще во всю мою жизнь до самой его кончины он был моим «старцем», то есть духовным отцом. Особенно

ощутительна для меня была польза его мудрой опытности в то время, когда я сама приняла сан игумении, настоятельницы монастыря; он живо сочувствовал моим начальническим скорбям, и, хорошо зная мое внутреннее устройство, безошибочно направлял свои советы и утешения.

Из этого понятно, насколько чувствительна была для меня потеря такого человека; он был для меня, в полном смысле слова, незаменим. Я скорбела о лишении его, по силе моей немощи, поминала его, но как-то верилось мне, что отношения наши не порваны, что он и там, если будет иметь дерзновение, не оставит меня своими молитвами. Конечно, зная его добродетельную жизнь, я надеялась, что он улучит милость Божию, но, само собой разумеется, что эта мысль была лишь предположением, а не уверенностью, и мне невольно думалось: «Господи, если таким людям там не будет хорошо, то что же будет мне, грешной?» И я задумывалась на этом до скорби, до уныния.

На самый сороковой день после его кончины, помолившись, я легла спать. И вот видится мне во сне, что я готовлюсь идти к утрени на Светлый праздник Пасхи и в ожидании полуночного часа в своей келье, двери в которую заперты, одеваюсь, зажигаю лампы и вообще готовлюсь.

Вдруг стучатся в двери с обычной молитвой Иисусовой и говорят мне громко: «*Полно спать, отец Вениамин уже пришел!*» Услышав это, я поспешила ответить, что совсем не сплю, а уже одета, готова идти, но тут же мне пришло на мысль, что еще рано начинать службу, и что можно бы тем временем побеседовать с отцом Вениамином, и, чтобы послать за ним, я отворила дверь; но никого нет; я прошла комнату, другую, — нигде никого; лишь слышно, из церкви доносится пение. Я туда спешу, чрез хоры спускаюсь в церковь,

на самую солею иду и подхожу почти к иконостасу с правой стороны Царских врат. И что же вижу?

Царские двери отворены и, сряду от них начиная, по обеим сторонам стоят большим полукругом священнослужители, наподобие как в соборных их служениях, с той только разницей, что в служениях предстоятель, то есть старший, стоит один на середине, а сослужащие — по сторонам равной линией, а тут они стоят рядом со стоящим на середине, и таким образом образуется как бы продолговатый полукруг. В середине его стоит отец Вениамин, а стоящие подле него как бы хотят вести его, взяв под руки с обеих сторон. И он, и все стоящие (а их очень много), все в желтых золотых облачениях, а на головах у кого — митры, у кого — камилавки монашеские (клобуки с наметками), а у кого — другое что, а кто и с непокрытой главой.

Вдруг все эти священнослужители запели дружно в один миг и чрезвычайно хорошо: *«Приидите, поклонимся и припадем ко Христу»* и прочее, и с началом пения все тронулись в алтарь, начиная со стоявших у самых Царских дверей и кончая тремя последними, из коих два крайние вели отца Вениамина, бывшего посреди их. (Я это видела, хорошо видела, в этом ручаюсь.) Входя в алтарь, они уже пели далее приведенный стих, но что меня удивило, они спели не так, как у нас поют: *«спаси нас, Сыне Божий»*, а *«спасый нас, Сыне Божий, поющая Ти»*, и с этим словом они все пали пред горним местом, как бы пред Самим Господом, Которого я, конечно, не видала, а видела их поклонение и как бы руку, осеняющую крестным знамением отца Вениамина: *«аллилуиа»*, это *«аллилуиа»* было подхвачено бесчисленными голосами и как бы перекатывалось из одних уст в другие, и так сладко, так чудно, как никогда не слыхала.

Когда, наконец, это смолкло, то чей-то голос из алтаря сказал возглас пред началом Литургии: «Благословенно Царство» и прочее. Певчие, какие и откуда взявшиеся на правом клиросе, не знаю я, запели «Аминь» и сряду же запели Херувимскую песнь. Это удивило меня, и я подумала, что же сколько пропустили, всю половину, Литургию оглашенных. Не помню, спросила ли я об этом, или сам диакон, вышедший в это время из алтаря кадить, ответил мне: «Ведь здесь нет оглашенных, и Литургия лишь верных совершается».

Тут я проснулась; мне было очень легко на душе; прежде всего я вспомнила об отце Вениамине; посмотрев на часы, я увидела, что было 2 часа ночи, и именно во втором часу он скончался назад тому сорок дней.

Упокой, Господи, с праведными душу его, и его молитвами и меня, грешную, помилуй!

На этом рукопись игумении Таисии оканчивается.

Внизу страницы рукой отца протоиерея Иоанна Сергиева Кронштадтского написано:

Дивно, прекрасно, божественно!

Печатайте в общее назидание.

Авг. 21 1892.

Прот. И. С.



К.Э. Гефтлер. Павловский институт
в Санкт-Петербурге. 80-е гг. XIX в. Акварель.



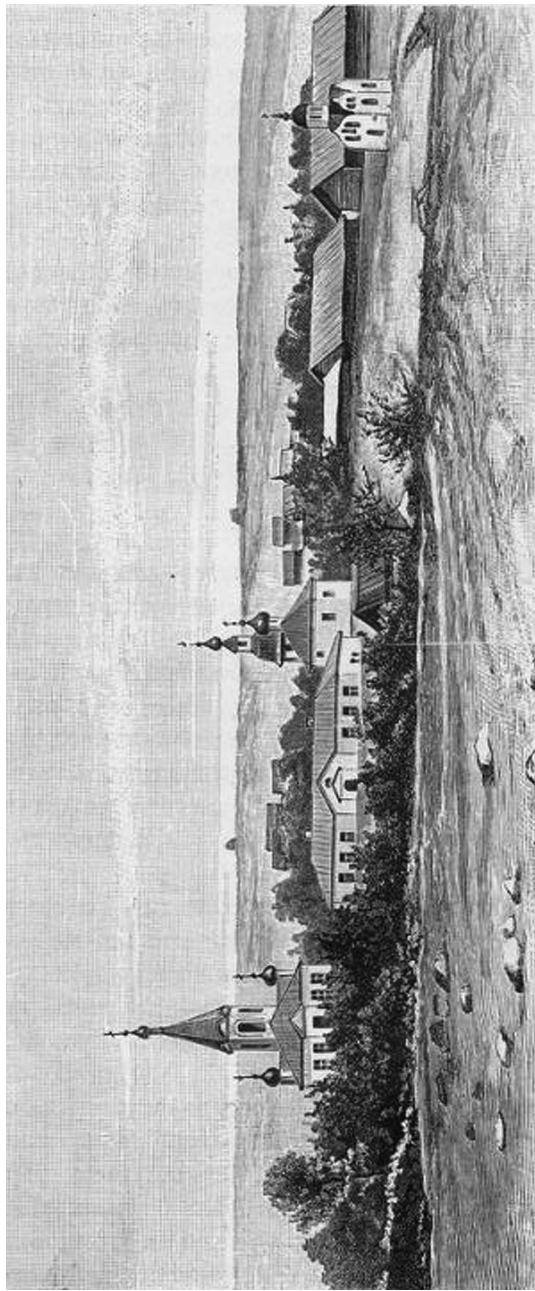
Внутренний вид храма в Павловском институте. Фото конца XIX века.



Митрополит Иоанникий (Руднев).
Фото 90-х гг. XIX века.



Дом Марии Солоповой в г.Боровичи.



Свято-Духов монастырь, г. Боровичи.
Ориг. рис. В. Павлова, грав. Шлипперъ.



Валдайский Иверский Богородицкий мужской монастырь
Фото начала XX века.



Введенский женский монастырь в Тихвине.
Фото начала XX века.



Покровский Зверин монастырь в Новгороде.
Фото начала XX века.



Епископ Самарский и
Ставропольский Серафим
(Протопопов), ранее викарий
Новгородский. 1818 – 1891 гг.



Архиепископ Воронежский и
Задонский Анастасий (Добрадин),
ранее викарий Новгородский.
1828–1913 гг.



Въезд в Леушинский монастырь.
Фото С.М. Прокудина-Горского 1909 г.



Леушинский монастырь.
Фото С.М. Прокудина-Горского 1909



Леушинский монастырь, Игуменский корпус.
Фото С.М. Прокудина-Горского 1909 г.



Монастырский сенокос. Фото С.М.Прокудина-Горского 1909 г.



Игуменья Таисия (Солопова) в Леушинском монастыре.



Свято-Успенская Киево-Печерская лавра. Фото начала XX века.



Священномученик Владимир
(Богоявленский).
Митрополит Киевский и Галицкий,
ранее викарий Новгородский.
1848 – 1918 гг.



Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Фото начала XX века.



Наместник Валаамского монастыря
игумен Дамаскин (Кононов).
1795–1881 гг.



Игуменья Таисия с сестрами
Санкт-Петербургского подворья
Леушинского монастыря.
Фото 1894 г.



Игуменья Таисия в Леушинском монастыре.
Фото С.М. Прокудина-Горского 1909 г.



Игуменья Таисия со св. пр. Иоанном Кронштадтским.





Письма
игумении Таисии,
к новоначальной инокине о главнейших
обязанностях иноческой жизни

Письма игумении Таисии к новоначальной инокине о главнейших обязанностях иноческой жизни.

Предисловие

Цель настоящего сочинения — ознакомить вновь поступающих в монастырь с главнейшими правилами и обязанностями иноческой жизни, о чем большая часть из них не имеют ни малейшего понятия. Хотя все таковые правила подробно и прекрасно изложены в многочисленных аскетических произведениях, но не всем доступно иметь эти драгоценные книги, не для всех они удобопонятны по своему глубокому содержанию, да и выбор таковых должен быть весьма осмотрителен. Сорокалетний опыт моей иноческой жизни и уже двадцатилетний опыт в жизни настоятельской дали мне понять, насколько необходимо более краткое, упрощенное, так сказать, живое разговорное слово, живые примеры, частью и из современной, более близкой к нам аскетической жизни для первоначального руководства вновь поступающих в обители послушниц, не приносящих с собою никаких сведений относительно образа жизни, в какую они вступают, а движимых только усердием служить Господу вдали от мира. Поэтому я и решилась изложить в этих «письмах к новоначальной инокине» в возможно кратких, но точных словах все главнейшие ее обязанности, чтобы на первых же шагах ее вступления в обитель дать ей подходящее руководство для иноческой жизни.

Письмо первое. По поводу вступления в монастырь.

Мнози бо суть звани, мало же избранных
(Мф. 22,14)

«Наконец, — пишешь ты, — утешил меня Господь, — родители мои дали мне свое благословение на поступление в монастырь; я радуюсь и благодарю Бога, исполнившего мое заветное желание». Есть чему и радоваться! Сочувствую тебе и вместе с тобою приношу благодарение Господу, *«исполняющему во благих желания»* (Пс. 102, 5) рабов Своих. *«Много званых, но мало избранных»* (Мф. 22, 14), — говорит Господь и, — *«блажени те, ихже избрал и приял Господь»* (Пс. 64, 5), — избрал из среды людей мира и призвал на исключительное служение Ему.

Один богомудрый отец⁴⁷ говорит: «Создав человека, Бог ввел его в рай и, покорив ему всех тварей земных, сделал его как бы царем Своего видимого мира. Монахов же Бог вывел из среды мира и поставил их пред лицом Своим на особое служение Ему» и тем как бы отличил их и предпочел без всякой личной их заслуги, по одной великой Своей милости и неисследимой премудрости, устрояя и указывая каждому именно тот путь ко спасению, каким кто наиболее способен шествовать. *«Позна Господь сущия Своя»*, — говорит Апостол (2 Тим. 2,19); и *«Аз вем, ихже избрах»*, — говорит Господь (Ин. 13,18). Но да не придет тебе никогда тщеславная, обольстительная мысль подумать о себе, что ты совершила нечто великое, оставив мир и вступив в монастырь. Помни слова Господа: *«не вы Мене избрасте, но Аз избрах вас»* (Ин. 15, 16). Что доброго можем совершить своими силами мы, грешные, немощные, исполненные всякого беззакония?! — Мы недостаточны даже

⁴⁷ Прп. Феодор Студит.

«от себе помыслити что, яко от себе»,— говорит Апостол (2 Кор. 3, 5), не только что совершить что-либо доброе, а тем более так или иначе устроить свою жизнь. Испытывая на себе великие милости всеблагого о нас Промысла Божия, будем благодарить Его и сокрушенным сердцем взывать к Нему: *«не по беззакониям нашим сотворил еси нам, ниже по грехом нашим воздал еси нам, щедрый и многомилостивый Господь!»* (Пс. 102, 7). И не одними лишь словами благодари Его, но постарайся и делами добрыми доказать эту благодарность; постарайся, чтобы вся жизнь твоя служила доказательством твоей искренней любви к Господу, сыновней преданности и послушания Его святой воле; иначе ты будешь подобна упоминаемому в Евангелии непослушному сыну, хотя и откликнувшемуся на призыв отца его, приглашавшего его работать в винограднике, но не пошедшему, следовательно, и не исполнившему воли призывавшего его (Мф. 21, 28–32). Да укрепит тебя Господь в добром начинании и да подаст тебе силу в предстоящем нелегком подвиге борьбы против искушений плоти, мира и диавола, паче же сего последнего, ибо он, по слову Апостола, *«как лев рыкая, ходит, ища кого поглотити»* (1 Пет. 5, 8) каким бы то ни было способом, а для того, чтобы успешнее достигать своей цели, он расставляет пред нами всевозможные сети, употребляет различные козни и прилоги, чтобы, выведав — к чему кто окажется более падким и склонным, — тем и уловить его в свои сети, как паук уловляет неопытных насекомых в свои тенета.

Да просветит Господь твои очи мысленные к уразумению этих козней вражиих и да умудрит тебя! Но говорить о сем пространно, думаю, еще не своевременно; ты новичок, едва лишь вступивший на путь богоугождения и, якобы, озирающийся вокруг себя; все тебе — ново и безызвестно, даже само общество, членом которого ты стала.

Могу сказать тебе, на первый раз, лишь одно слово, но слово такой важности, что от исполнения его будет зависеть все твое дальнейшее преуспеяние, твое личное спокойствие и мир душевный, который и есть первое условие спасения нашего. Вот это слово: постарайся всех любить! Заповедь не трудная, свойственная самой природе нашей и притом настолько сладкая и отрадная, что исполнение ее наполняет каким-то чудным миром сердце, любящее ближних: *«Возлюбии искренняго твоего, яко сам себе»*, — сказано в Евангелии (Мф. 19,19).

Поводом к исполнению сего послужат тебе самые обстоятельства в жизни, которые и дадут тебе случай приучить твое сердце к любви со всеми многообразными добродетелями, в ней заключающимися, как то: к смирению, непамятозлобию, прощению обид, готовности на всякое угождение ближнему, хотя бы потребовалось для того и самопожертвование. Если будешь смотреть на ближнего, как на близкого (не чуждого) тебе человека, как на собрата твоего, искупленного бесценною кровию Богочеловека и усыновленного Им Отцу Небесному, то, если в сердце твоём теплится хотя малая искра любви к Господу, ты непременно возлюбишь и ближнего твоего, ибо *«любяй Бога, любит и брата своего»* (1 Ин. 4, 21). Если ты будешь чаще припоминать любвеобильнейшие слова Господа: *«Еже сотвористе единому сих братии Моих меньших, — Мне сотвористе»* (Мф. 25,40), то никогда ничего не пожалеешь для них — ни вещественного подаяния, ни нравственных для них трудов. Если будешь почаще вглядываться в свои собственные недостатки и проступки, то ни о ком не будешь не только говорить, но и думать дурно, ибо не увидишь чужих погрешностей, когда внимание твое будет сосредоточено на твоих собственных грехах. Да если

бы даже и пришлось тебе видеть сестру твою согрешающую, то помысли, что она тотчас же может покаяться, исправиться и загладить свой грех, *«силен бо есть Бог возставити ю»* (Рим. 14, 4), а ты, осуждающая, можешь ежеминутно согрешить гораздо горше ее и не знаешь, будет ли тебе дано время на исправление и заглаждение греха.

Итак, берегись осуждения, угождай всем, считай себя худшею всех, храни любовь ко всем в сердце твоём и проявляй ее на деле; тогда будешь мирствовать и спасешься.

Вот тебе мой первый совет, встречающий тебя, так сказать, во вратах монашеской жизни! Начни с любви; она выше всех внешних подвигов, выше *«всех всесожжений и жертв»* (Мк. 12, 33). Апостол Павел, перечисляя все подвиги веры и благочестия, все высшие христианские добродетели, даже самое мученичество за веру Христову, заключает, что если нет при этом любви, то ни в чем нет пользы и все ничто: *«Любве же не имам, никакая польза ми есть, — ничто же есмь»*. Не забывай этой святой истины, без соблюдения ее невозможно спастись, и пропадет весь труд твоего иноческого подвига.

Письмо второе.

О происхождении монашества и об общежитии.

*В руке Господа власть над землею
и потребное воздвигает во время свое
(Сир. 10, 4) .*

Прежде чем рассуждать о тех или других вопросах монашеской жизни, я решила, дорогая сестра моя, сообщить тебе хотя краткое понятие о самом монашестве, его происхождении, подразделении и об общежитии иноческом с его правилами и уставами. Буду излагать не свои слова и мысли, а бук-

важные свидетельства о сем святых отцов и учителей Церкви, пространно и прекрасно изложенные в книге П. С. Казанского «История православного монашества на Востоке»⁴⁸.

Все святые отцы и учителя Церкви утверждают, что монашество ведет свое начало от времен апостольских и даже еще раньше, от времен Самого Иисуса Христа.

Святитель Василий Великий говорит, что «образ монашеского общежития есть истинное подражание образу жизни Господа Иисуса Христа с Его учениками». Как Иисус Христос, собрав вокруг Себя лик учеников, жил с ними отдельным обществом, так и монахи, живя совокупно отдельными обществами, под руководством своего игумена, поистине подражают житию их, если только свято и разумно хранят правила жития.

Проповедь апостольская, имевшая целью распространение христианской веры на земле, сама собою соделалась и источником аскетического духа между верующими.

Святитель Иоанн Златоуст (407 г.) говорит: «Небесный огонь, принесенный на землю Богочеловеком (*«Огня приидох во вверещи на землю, и что хоужу, аще уже возгореся»*) (Лк. 12, 49),— возгорелся в сердцах людей, воспламенил в них жизнь новую, оживотворил их дух, подавленный чувственностью, и воскриленная им свобода ума восчувствовала потребность и силу воспрянуть от дольняго к горнему»⁴⁹.

Чем сильнее возгоралась эта искра, тем сильнее ощущалась потребность высвободиться от опутывающих душу тенет мирской жизни и предаться уединению для беспрепятственного внимания *«единому на потребу»* (Лк. 10, 42).

⁴⁸ П.С. Казанский — экстраординарный профессор Московской духовной академии.

⁴⁹ Свт. Иоанн Златоуст. Беседа 68 на Евангелие от Матфея.

Преподобный авва Пиаммон, в беседе с преподобным Кассианом Римлянином, утверждает то же самое, говоря, что «образ жизни монашеской получил начало от апостольской проповеди»⁵⁰.

Церковный историк Филон говорит о том же следующее: «Еще в начале проповеди апостольской между христианами были отличавшиеся особым любомудрием, то есть стремлением к высшим аскетическим подвигам и созерцательности, что и составляет принадлежность жизни не просто христианской среды, хотя и не запрещенных, но не соответствующих таким стремлениям, сует и молв житейских, а исключительно жизни монашеской».

Такие выходцы из общего новопросвещенного христианского мира для достижения своих высоких целей оставляли свои родные жилища, родителей, родственников и друзей и удалялись в леса и пустыни, чтобы совершенно сокрыться от взоров мира и в безмолвном уединении невозбранно работать единому Господу. На них сбылись слова псалмопевца: *«Се, удалихся бегая и водворихся в пустыни: чаях Бога спасающаго мя»* (Пс. 54, 8).

Так образовался строжайший род монашества — отшельничество (то есть отшествие от мира). Некоторые из таких подвижников жили совершенно одиноко, никого к себе не принимая, никогда ни с кем не беседа и даже не видясь, как, например, преподобный Марк Фраческий, проживший в совершенном уединении с лишком 90 лет, не выдав лица человеческого, и многие-многие другие, о коих упоминается в Четвях mineях и в прологах, но еще более таковых, коих имена не дошли до нас и ведомы одному Сердцеведцу.

⁵⁰ Прп. Иоанн Кассиан Римлянин. Писания. Собеседование 18, гл.5.

Был и такой род пустынножительства, когда подвижники поселялись хотя и в отдельных кельях, или, вернее сказать, пещерах, или самородных, или ископанных ими для себя собственными руками, но неподалеку один от другого, причем имели возможность взаимного братского вспоможения в случае надобности и духовного утешения, в лицезрении друг друга и во взаимной беседе, которую они разрешали себе ради духовной пользы, и то лишь в праздничные дни, когда собирались в церковь для причащения Святых Таин. Такое их сожительство неподалеку друг от друга происходило по большей части от того, что, когда кто намеревался оставить мир и поселиться в пустыне, он искал не только удобного к сему места, но и опытного подвижника, могущего наставить его в пустынножительстве и быть его руководителем. Пустынники, в свою очередь, хотя и скорбели о нарушении пришельцем их уединения, но во имя заповеди о любви христианской не отвергали его и, преподав первые и главнейшие правила аскетической жизни, не столько словом, сколько безмолвным, живым примером, если находили его способным, — позволяли ему поселиться в этой пустыне, устроив на указанном ему месте келию или ископав пещеру, сами же не переставали наблюдать за образом жизни его, пока он достигал посильного совершенства.

Места, неведомые дотоле и непроницаемые для людей, обитаемые лишь дикими зверями, наполнялись кельями и пещерами отшельников, «скитавшихся, по слову Апостола, в пустынях и горах и вертепах и в пропастях земных, лишени, скорбяще, озлоблени, ихже не бе достоин весь мир». Пустыня представляла собою Богонасажденный рай, благоухавший цветом подвижничества.

И не только мужи, но и жены достигали равной с ними степени подвижничества, показывали изумительные примеры

самоотверженности и сподоблялись великих даров благодати. Небесный огонь, принесенный Спасителем на землю, возгорелся и в сердцах этих более слабых созданий, женщин, и породил в них великое пламя любви Божественной, пожегшее и превратившее в ничто для них все земное и временное.

Святитель Иоанн Златоуст говорит об этом: «В начале христианства в стране Египетской является чудное воинство Христово, ведущее образ жизни, свойственный лишь горным силам; и является оно не только в мужах, но и в женах, которые не менее мужей любомудрствуют. Как великие подвижницы, оне вступают в брань духовную с диаволом и властями тьмы: естественная слабость их вовсе не служит к тому препятствием. Если оне не обладают крепостью сил, то, как бы взамен того, одарены более живым чувством и восприимчивостью.

Пламенея любовью ко Господу, твердо их произволение и решимость на все лишения и трудности ради Сладчайшего Иисуса. Их живое чувство и пламенная любовь дают им силу и мужество проходить путь подвижничества, столь же суровый и строгий, как и подвижники-аскеты: *“о Христе бо Иисусе несть мужеский пол, ни женский, но вси едино суть”* (Гал. 3, 28)».

Египетская пустыня была рассадником и женского монашества, как и мужского.

Преподобный Павел Фермейский поведал авве Макарию, что знал он одну девственницу-пустынницу, которая в течение 35 лет пребывала неисходно в своей пещере, вкушая пищу лишь в субботу и воскресенье.

В Александрии и ее окрестностях жило много девственниц, из которых одни жили вместе, а другие отдельно в келье или пещере, или даже совсем заключались в гробницах

и пребывали неисходно до самой смерти, принимая пищу чрез оконце или отверстие.

Такова была преподобная Александра, о которой пишет знаменитый историк Дидим, что прожила она в гробнице неисходно лет около десяти, сама себя приготовила к исходу из сей жизни, получив извещение о часе кончины своей.

Палладий говорит, что святой Афанасий Великий, во время гонения ариан, шесть лет укрывался у одной девственницы-пустынницы (Синклитикии); она сама служила ему во всем, добывая книги и все нужное.

Он же, Палладий, епископ Еленопольский, указывает и еще одну девственницу-пустынницу, проведенную в затворе безысходно шестьдесят лет. Пред кончиною ей явился святой мученик Колуф и предсказал время ее отшествия и блаженную участь.

Когда преподобный Антоний Великий вознамерился удалиться на совершенное безмолвие, то, чтобы окончательно освободиться всякого земного попечения, малолетнюю сестру свою отдал на попечение «девственницам, особо живущим, Христу уневестившимся». Из сего видно, что еще в начале удаления преподобного Антония из мира женское отшельничество уже существовало.

В житии преподобного Исидора Странноприимца упоминается, что сестры его жили в общежительной обители, состоявшей из 70 дев.

Царицы и царевны оставляли свои роскошные чертоги и несметные богатства, предпочитая им суровую пустыню и произвольную нищету: Аполлинария, дочь Римского императора, Евгения, Евпраксия, Олимпиада, Ксения и множество им подобных любомудрых дев, имена коих знает один Всеведец, ради Которого они подвизались.

Таким образом, мы видим, что монашество женское, как в виде отшельничества, так и общежития, возникло одновременно с мужским, в самом начале христианства, и составляет для него, по выражению святителя Иоанна Златоуста, цвет, украшение, славу и венец его совершенств. Является же оно не следствием каких-либо внешних причин или нововведений, но самостоятельным источником высших проявлений человеческого духа, воскриленного христианством, почему и не стесняется ни временем, ни местом, ни степенью, ибо дух свободен в своих стремлениях, граница его — его собственный произвол.

В смысле внешней организации, то есть формы и правил, как отшельничество, так и общежитие, получили свое начало лишь в 3-м веке по Рождестве Христовом, ибо до того времени первенствующая Церковь подвергалась почти непрерывно гонениям от языческих царей. Христиане скрывались от преследования мучителей, а об организации какого-либо общества нельзя было и думать. Но *«в руке Господа власть над землею, и потребное воздвигает во время свое»* (Сир. 10, 4). В 3-м веке воздвигает Господь великих столпов монашества, преподобного Антония Великого, учредителя и основателя отшельничества, и преподобного Пахомия Великого, устроителя монашеских общежитий, дошедших и до нашего времени. «Великую услугу, — говорит преподобный Антоний о святом Пахомии, — оказал отец Пахомий, собрав такое множество братии; ибо вначале, как я сделался монахом, не было ни одной киновии (то есть общежития для воспитания новоначальных иноков), и каждый из них жил по своему произволению, подвизаясь без руководства».

Сам Бог приказал преподобному Пахомию основать общежития иноческие.

Когда однажды преподобный отошел далеко от своего жилища и дошел до «Тавенны» — места, лежащего на берегу р. Нила, — он остановился там для молитвы. Во время молитвы он слышит голос: «Поселись здесь, выстрой монастырь, к тебе соберется много иноков». Вместе с этими словами явился ему Ангел и вручил ему медную доску, на которой начертаны были правила иноческой жизни, которые и вошли в употребление под именем «устава».

Устав этот сделался общеупотребительным во всех обителях общежительных времени преподобного Пахомия, которым он и был начальником и руководителем; затем переходил преемственно и для последующих обителей, по времени был несколько изменяем применительно к духу времени и немощам иночества, но коренные его правила и основание остаются неизменными и до нашего времени, до нашего бедного, убогого иночества. Вот я изложила тебе, сестра, хотя кратко, но достаточно для твоего понятия о высоких началах и духовном развитии иноческой жизни; сказала и о Божественном о ней Промысле и попечении, ясно выразившемся в том, что Сам Бог чрез Ангела Своего начертал для нее «устав», то есть основные правила жизни иноческой. Какому же ответу подлежим мы, нерадивые иноки и инокини, надевшие на себя монашескую, святую одежду, а «духа ея не имущие».

Прочитав это письмо, вникни, пораздумай, — на какой дороге ты стоишь и как стоять должна; разумно проходи твою жизнь иноческую. Закончу словами Апостола: *«молю убо вас, достойно ходити звания, в неже звани бысте, со всяким смиренномудрием и кротостию, с долготерпением, терпяще друг другу любовь, тщащися блюсти единение духа в союзе мира... во едином уповании звания вашего»* (Еф. 4, 1–4).

Письмо третье. О повиновении старшим.

Повинуйтесь наставником вашим и покоряйтесь: тии бо бдят о душах ваших

(Евр. 13, 17)

Вот уже и искушение, вот и смущение! Не ожидала я, однако, услышать от тебя то, что ты излагаешь в своем письме! Да и можно ли ожидать, чтобы юная, новоначальная послушница дерзнула обсуждать и определять нравы и характеры стариц-монахинь, в течение многих лет подвизающихся и приобретших известный опыт монашеской жизни и духовного преуспевания. «Кто ты постави судию над нами?» (Исх. 2,14). Если велик и тяжок грех осуждения ближнего, хотя бы равного или и младшего себя, то не страшно ли осуждать и злословить стариц-инокинь, и тем еще более тех из них, которым вручена душа твоя для духовного руководства ее на пути спасения, тех, кои взяли на себя ответственность за твою душу не только пред земными начальниками, но и пред Самим Владыкою Богом. Устыдись, сестра! На что ты жалуешься, на что указываешь? Ты пишешь: «Старица, к которой мать игуменья поместила меня, сурового нрава, очень строгая, и мне трудно угодить ей!» — «От уст твоих суждуюти» (Лк. 19, 22) и, по сложности твоей жалобы, отвечаю на каждую мысль отдельно: поместила тебя к этой старице твоя настоятельница, мать игуменья, которой, без сомнения, хорошо известны и характер, и образ жизни каждой из подчиненных ей сестер, тем более стариц, как давно живущих в обители; известен ей и твой нрав, и твое душевное устроение, и если она вручила тебя именно этой, а не иной старице, то, конечно, сделала это не без основания, а по всесторонне-

му обсуждению дела и притом не без внушения Божия, ибо «сердцами начальствующих Бог управляет», а по сказанному и «нести власть, аще не от Бога» (Рим. 13,1). Следовательно, каждое распоряжение и постановление настоятельницы ты должна принимать как от руки Божией, памятуя слова Апостола, что «противляющаяся власти Божией повелению противляются, а противляющаяся Божией велению себе грех приемлют» (Рим. 13, 2). С полною верою, с искреннею любовью подчини себя твоей старице, отвергни всякое мудрование, которое для послушника, вступающего на путь монашеской жизни, есть гибель душевная; особенно избегай его по отношению суждений и как бы проверки действий старицы и ее личных качеств; что тебе до сего? Ты подчинена ей во имя Господа; ты обязана ей повиноваться с беспрекословным послушанием, а не она тебе. Не жалея себя: самосожаление, равно как и самооправдание, мешают делу спасения инока и запинаят его на пути преуспевания; предайся, повторяю, беззаветно воле твоих руководительниц, — предайся им, как глина — скудельнику, как железо — ковачу; пусть мнут и куют на ковальне послушания (как выражается святой писатель Лестницы Иоанн) твою непокорную и горделивую волю, пока не сотрется она в мягкий воск смирения, чтобы разумно, сознательно, могла ты повторять слова псалмопевца: «во смирении нашем помяну ны Господь» (Пс. 135, 23) или «благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим» (Пс. 118, 71). Видишь, — и оправданиям Господним, то есть благоугождению Господу, не научиться без смирения и самоуничужения. Десять дев в полуночи ожидали пришествия небесного Жениха; но только половина их была принята в чертоги Его, а остальные, как не имевшие елея во светильниках своих, к стыду своему и прискорбию, не только

не были допущены в чертог, но и услышали грозные слова Жениха: *«аминь глаголю вам: не вем вас»* (Мф. 25, 12). Смотри, чтобы этот недостаток еля не оказался и в тебе недостатком смирения и послушания, без коих угаснет твой светильник веры и мнимого усердия. Великой чести возжелала ты — соделаться невестою Христовою, сподобиться вечного с Ним царствования; а достигнуть сего думаешь без трудов и подвигов самоотвержения. Не забывай, что «добрая дела трудом стяжываются», а труд ли это — подчиниться воле руководящих нас на пути спасения, идти которым мы сами же пожелали, сами просили и молили быть принятыми под это руководство. Своим непокорством и своеволием Ты осложняешь труд твоих руководительниц, труд и без того нелегкий, и причиняешь им скорбь и воздыхание. Послушай Апостола, говорящего о сем так: *«Повинуйтесь наставником вашим и покарьтесь: тии бо бдят о душах ваших, яко слово воздати хотяще (о вас), да с радостию сие творят, а не воздыхающе: несть бо полезно вам сие»* (Евр. 13, 17).

В следующем письме я постараюсь подробнее изложить тебе учение преподобных отцов о послушании и о послушничестве и примерами из жизнеописаний подвижников доказать высоту послушания как важнейшей и первой степени монашеского преуспеяния. Послушание есть основание и фундамент иночества, которое и зиждется именно на послушании прежде всего. Какие бы подвиги и труды ты ни предпринимала, но если совершаешь их по своему мудрованию и по своей воле, а не по благословию руководящих твоим спасением, то есть не по послушанию, — все таковые не могут быть приятны Богу, как плод своеволия.

Смотри на старицу свою (келейную) и на общую вашу мать игумению, как на посредниц твоих к Богу, которые всю

жизнь свою посвятили на попечение о твоём спасении, «яко слово воздати (о тебе) хотяще»; им нет большего горя, как непокорство ваше и неисправность; и наоборот, нет большей радости, как видеть вас преуспевающих в богоугождении и святости, по слову Апостола: «*больши сея не имам радости, да слышу моя чада во истине ходяща*» (3 Ин. 1, 4).

Письмо четвертое. О послушничестве.

Не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя
(Ин. 6,38)

Что такое послушание? В общем смысле слова — послушание есть повиновение чужой воле. Заповедь послушания по времени есть самая первая, самая древнейшая, так как еще в раю, прародителям нашим, в их первобытном состоянии невинности, уже была дана заповедь послушания — «не вкушать плодов известного древа», нарушение каковой заповеди и повлекло за собою смерть.

В отношении же монашеской жизни слово «послушание» имеет весьма обширный и строгий смысл; в нем заключается не только общее понятие об исполнении заповеди, но и понятие о высшей монашеской добродетели, состоящей в безусловном самоотречении или самоотвержении, полнейшее покорение своей воли воле руководителей. Воля, или, что то же, свобода, есть драгоценная собственность каждого человека, Самим Богом ему данная; и эту-то возделенную свободу свою люди, избирающие путь иноческой жизни, безвозвратно полагают на жертвенник закления, добровольно принося ее в жертву Господу. О, каких трудов, какой борьбы стоит иногда эта жертва истинному послушнику! Изве-

дал это тот, кто десятки лет провел в безусловном отсечении своей воли, в беспрекословном подчинении ее воле чужой; но, с другой стороны, он же и вкусил и познал опытом, сколь *«блага иго Господне, и как легко бремя Его»* (Мф. 11, 30).

«Не те лишь одни удостоены названия мучеников, — восклицает преподобный Исаак Сирин, — которые умирают ради благоугождения Христу». Истинный послушник — умер волею, желаниями, умом, то есть мудрованием, рассуждением о заповедуемом ему; он дерзновенно может восклицать с Апостолом: *«Живу же не тому аз, но живет во мне Христос»* (Гал. 2, 20), Который Сам *«послушлив был даже до смерти»* (Флп. 2, 8) — не творил волю Свою, но волю пославшаго Его Отца (Ин. 5, 3), и в великие минуты пред Своими крестными страданиями, когда *«падал на лице Свое»* (Мф. 26, 39) в молитве к Небесному Отцу, когда *«бысть пот Его, яко капли крове, каплющая на землю»* (Лк. 22, 24), как истинный послушник Отца Своего взывал Ему: *«не якоже Аз хочу, но якоже Ты»* (Мф. 26, 39); — *«не Моя, но Твоя воля да будет»* (Лк. 22, 42). Святой Иоанн Лествичник, обращаясь к истинным послушникам, говорит: «Вы, живущие в послушании, Христоподрожательные послушницы! Знайте и ведайте, что путь, вами избранный, есть самый кратчайший и самый безопаснейший к Царствию Небесному. — Вы немощными стопами переходите море (житейское), потому что не своими членами переплываете его, а чужими руками, вас ведущими, поддерживаемы! Вы добровольно продаете себя в неволю, и эту неволю покупаете себе вечную свободу!» Далее, ублажая добродетель послушания, он продолжает: «Послушание есть совершенное души своея отвержение — безопасное плавание, сонное путешествие, бесстрашие смерти, гроб воли, добровольная смерть, несомненное воскресение»

ние». «Буди мертв в жизни твоей, да жив будешь по смерти твоей», — восклицает другой духоносный отец, Исаак Сирин, и эти слова, как мы знаем из жизнеописания преподобного Акакия послушливого, оправдались даже и в буквальном смысле, когда этот истинный послушник и из могилы (будучи погребенным мертвецом), послушный гласу старца своего, ответил на вопрос его. Старец Акакия казался жестоким и грубым старцем; он не только строго обращался с ним, но нередко оскорблял и бил его без вины и без причины. Акакий, между тем, как истинный послушник, все переносил без ропота, с истинным смирением, сохраняя полную любовь и почтение к старцу. Но вот скончался Акакий, и узнавшие о сем пришли навестить старца и разделить с ним его печаль об утрате столь смиренного и послушного сына; на что говорит им старец: «Акакий не умер, но жив!»

В подтверждение своих слов, ведет их к могиле его и спрашивает мертвеца, как бы живого: «Акакий, ты жив?» «Жив я, отче!» — отвечает истинный послушник, ибо «послушание не умирает!».

Вот высота истинного послушания. Ведь это не вымысел, не анекдот какой-либо пустой светской книги, а сказание книги Жития Святых, признанной истинною святою Церковью, написанной святым великим святителем, от Бога прославленным чудотворениями и нетлением святых мощей его. И мы хорошо знаем все это, несомненно, верим сему. Отчего же так холодно, равнодушно и даже как-то небрежно относимся к таким великим истинам, не только не применяем их к делу нашего собственного преуспевания, но, как бы «мимоходим», как дело вовсе не имеющее к нам никакого отношения? Или «одебелело сердце наше», как выражается Исаия пророк (Ис. 6, 9–10), и мы «видяще не видим, слышаще не слышим!»

(Мф. 13, 13). Между тем вся сия, по слову Апостола: *«в наше наказание преднаписашася»* (Рим. 15,4); и *«како мы убежим о толицем нерадивие спасение»* (Евр. 2, 3) и *«толик имуща облажащ нас облак свидетелей»* (Евр. 12, 1).

Вспомним и преподобную Исидору послушницу, которая не только беспрекословно и с глубоким смирением исполняла все самые тяжелые послушания общежития, с изумительным терпением сносила обиды и поношения, но и под образом юродства скрывала свои великие подвиги и добродетели. И какой же конец увенчал ее подвиги? Великий Савва пустынный имел откровение от Господа о том, что есть девственница в обители общежительной, превосходящая его своими подвигами; и он пошел в указанную обитель, взыскал преподобную послушницу, которая по смирению своему даже не вышла к нему в числе других сестер, упал к ногам ея, пред всеми прося ея святых молитв и благословения. Видите ли высоту послушания? Оно превосходит подвиги пустынножителей! Следовательно, дело преуспевания иноческого, дело спасения вашего, так сказать, в ваших собственных руках, и не обидно ли, не скорбно ли вам из собственных рук терять его безвозвратно! Если вы укажете на трудность истинного послушничества, то укажете какое-либо хорошее, хотя бы и для временной лишь жизни полезное дело, которое совершилось бы легко и беструдно; да и за что же ожидать воздаяния или награды, если не потрудиться и поболеть ради ея. Не сами ли вы избрали для достижения вечного спасения не иной какой путь, а именно путь иночества, основанный на послушании, и пока остаетесь на сем пути, уклониться от послушаний не можете, так или иначе должны исполнять волю руководителей ваших; если исполните с надлежащим усердием, смирением и терпением, блаженны вы, как подражатели, соучастницы преподобных:

Акакия, Исидоры, Досифея послушника, Павла препростого и других приявших венцы послушания; если же и пребываете в послушании, но с ропотом, леностию, самочинием и прекословием, то нельзя не скорбеть о вас, ибо вы погубляете свои собственные труды, теряете венцы, уже находившиеся в руках ваших, готовые уже увенчать главы ваши. Скажу при этом и еще одно повествование из Пролога как пример и доказательство того, что никакое самонаименьшее дело не останется без воздаяния от Того, у Которого и *«власи главы нашея вси изочтени суть»* (Мф. 10, 30). Один инок жил в послушании у старца: между прочим, он имел от него заповедь «никогда не отходить ко сну, не получив прежде благословения старца». Однажды вечером, совершив свое правило, послушник подошел к старцу на благословение; старец, сидя, дремал; так как это продолжалось несколько часов, то послушнику пришлось неоднократно покушаться уйти спать, не дождавшись пробуждения старца. Всякий раз, когда он намеревался уйти, мысль, что, не приняв благословения, он нарушит данную ему заповедь, удерживала его, и он оставался пред старцем, ожидая его пробуждения.

Наконец, старец открыл глаза и, увидев послушника, стоящим пред собою, спросил его: «Что ты, чадо, здесь делал в это время?» «Ничего, отче, я не делал, — отвечал послушник, — я сам едва не задремал, так как сон одолел меня, и я только ждал твоего благословения, помня заповедь твою — без него не отходить ко сну». «Сколько раз ты порывался уйти спать?» — спросил старец, но послушник не мог определить этого. Тогда старец сказал ему: «Блажен ты, чадо, что сохранил послушание; поверь мне, что я видел сейчас пять венцов, спускавшихся с высоты на твою главу, один после другого; это венцы послушания, коими венчаются истинные

послушники, отвергшиеся своей воли и хотений». Из этого примера ясно видно, что никакое и малое усилие над собою, ради соблюдения заповеди, не остается без воздаяния от щедрой руки Мздовоздаятеля, рекшего, *«что и чаша холодной воды, поданная во имя Его, не лишится мзды своя»* (Мф. 10, 42).

Недостало бы ни времени, ни возможности описывать все бесчисленные примеры высокого, самоотверженного послушания, коими переполнены книги: Четвы минеи, Прологи, Отечники и др. Если ты заботишься о своем преуспевании, если хочешь быть истинною послушницею, не по имени только, но и по самой жизни, то непременно прочитывай и чаще перечитывай названные книги и, читая, старайся уразумевать и удерживать в памяти все, о чем читала или слышала: *«Не слышатели бо закона праведни пред Богом, но творцы закона, сии оправдятся»* (Рим. 2, 13).

Если же ты и разумеешь, но не внимаешь, небрежешь, то не избежишь осуждения с *«рабом, ведавшим волю Господа своего и не сотворившим по воле Его»* (Лк. 12, 47). Размысли о сем и убойся.

Письмо пятое.

Не любяй брата своего — Бога како может любити
(1 Ин. 4,20)

Не замедлили, однако, посетить твою душу искушения, несмотря на твердую готовность твою всецело отдаться богоугождению под кровом мирной обители, где надеялась ты, как пинешь, «найти тихое пристанище, а не смущение и соблазн». — В чем же дело? Что так смутило и встревожило тебя?

Прежде всего скажу тебе, что если ты воображала найти рай на земле, хотя бы и в обители, то очень ошибалась; рая,

то есть полного блаженства на земле, нет и быть не может, так как человек и создан не для земли, а для неба, а чтобы унаследовать рай на небе, должно заслужить его здесь, на земле, многими трудами, скорбями, усилиями, то есть усиленным самовниманием, как говорит Апостол: *«многими скорбьми подобает нам внити в Царствие Божие»* (Деян. 14, 22) и как учил и Сам наш Божественный Подвигоположник: *«Царствие Божие нудится, и нудящие себя к его исканию восхищают е»* (Мф. 11, 1). Если же непременно хочешь найти его на земле, то ищи не в стенах каменных обителей, не в лесах дремучих пустынь, а в себе самой, в своей собственной душе, ибо: *«Царствие Божие внутри вас есть»* (Лк. 17,21). Вот, если бы искала в себе и старалась бы поселить в своем сердце это Царствие Божие, то не жаловалась бы на ближних, как на *«причиняющих тебе искушения и соблазны»*.

Пишешь: *«Замечаю, что некоторые сестры относятся ко мне недружелюбно, и этим смущаюсь»*. Этим недугом страдают многие души *«неискусные»* и не *«совершившиеся в любви Христовой»* (1 Ин. 4,18). Страдала им и я сама, а когда обратилась к одному богомудрому старцу, чтобы открыть ему свое смущение и скорбь, то вот какой ответ услышала от него: *«какими глазами будешь смотреть на людей, таковыми и будут казаться тебе люди»*. И весьма хорошее и доброе можно затмить и представить в черном виде, как и наоборот, и дурное можно принять за благое. Последнее мы оправдываем почти ежеминутно по отношению к самим себе, стараясь прикрывать благовидностью свои ошибки и проступки; между тем — к ближним относимся весьма строго, судя лишь по внешнему виду их поступков, не зная внутреннего расположения души. Может быть, это *«недружелюбное отношение»* к тебе сестры — только кажущееся, а не действительное; мо-

жет быть, это козни врага, ищущего посеять между вами плевелы вражды, чего вы и сами не замечаете, но что так легко может осуществиться. Как от малой искры огня, не потушенной вовремя, разгорается иногда сильнейшее пламя, так и от малой искры недоверия и недружелюбия вспыхивает целое пламя вражды, пожирающее многолетние труды в добродетели. Если же и действительно сестра, по немощи своей, оказывает к тебе мало дружелюбия, то прежде чем упрекать ее за это, загляни в свое собственное сердце, проверь свои собственные отношения к ней. Может быть, внимательное и беспристрастное самоиспытание и докажет тебе, что ты сама подала повод к сему, а следовательно, сама и виновата во всем. Старайся хранить в сердце безусловный мир ко всем, по слову Апостола: *«Аще возможно, еже от вас, со всеми человеки мир имейте»* (Рим. 12, 18). Этот внутренний мир собственной твоей души послужит наилучшим залогом или обеспечением мира и любви к тебе других, а выше и досточестнее любви нет ничего, как и Апостол утверждает, называя любовь *«исполнением (всего) закона»* (Рим. 13, 8), *«союзом совершенства»* (Кол. 3, 14), при коем *«мир Божий водворяется в сердцах наших»* (Флп. 4, 7).

А как возвеличил любовь святой Иоанн, этот Апостол любви, как называет его святая Церковь, возлюбленнейший ученик, друг и наперсник Христов! Все послание его дышит любовью, которая, как бы невольно, проникает в души читающих его с должным вниманием: *«Возлюбленнии! — пишет он, — возлюбим друг друга, яко любви от Бога есть»*. *«Всяк любяй (брата своего) — знает Бога, а не любяй не позна Бога, яко Бог любви есть»*. *«Аще друг друга любим, — Бог в нас пребывает»*. *«Пребывай в любви в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает»*. *«Не любяй брата своего и Бога не может*

любити». *«И сию заповедь имамы от Него, да любяй Бога любит и брата своего»* (1 Ин. 4, 7–21). *«Мы должны есмы по братии души полагати, яко Он (то есть Христос) по нас душу Свою положи»* (1 Ин. 3, 16). Видишь ли, разумеешь ли высоту любви христианской? Души свои полагать для ближних должны мы, то есть жертвовать для них самую жизнь, без всякого разбора и различия взаимных расположений, хотя бы и видели от кого неприязнь и обиды, по слову Господа нашего: *«любите и враги ваша, добро творите ненавидящим вас»*, ибо *«аще любите токмо любящих вас, что особенного творите, ибо и язычники любящих их любят»* (Мф. 5,44,46. Лк. 6,32). О, неисследимая и непроницаемая глубина любви Хриstopодражателей! Блажен, кто вкусит от плода твоего! Ты, как райское древо жизни, соделаешь его бессмертным и блаженным во веки!

В жизнеописании святого апостола Иоанна Богослова сказано, между прочим, что когда он состарился так, что не мог приходить в собрание верующих, то ученики его приносили его туда на руках, и он, не будучи в состоянии говорить пространных поучений, повторял только свои любимые слова, заключающие в себе существенное основание христианства: *«дети мои, — любите друг друга!»* Повторяю и я тебе, повторяю и сто крат: люби и люби всех без изъятия любящих тебя и нелюбящих, а сих последних, пожалуй, еще и больше люби, ибо они твои благодетельницы, дающие повод к исполнению высшей христианской добродетели; не подозревай ни в ком недоброжелательства к себе; напротив, если бы оно и было, старайся не видеть его, не замечать его, ибо *«доброе око не узрит зла»*, и *«любовь не мыслит зла»* ни о ком, *«вся любит, вся терпит и николиже отпадает»* (1 Кор. 13, 5, 7–8). Если и везде, то тем более в общежитиях монашеских необходимо

держаться заповеди о любви. Все члены общежития составляют как бы одну родную семью, одно целое и по одинаковому образу внешней жизни, и по одинаковым стремлениям души к одной цели богоугождения и самоусовершенствования; между тем, несмотря на это единство, сколько между этими членами общежития личной всесторонней разности и даже противоположности! Обитель общежительная, как чадолюбивая мать, простирает свои объятия всем, прибегающим к ней по слову Господа, *«грядущаго ко Мне не изжгены вон»* (Ин. 6, 37). А грядут под кров ее и образованные люди, и невежды, и господа, и простецы, и богатые, и нищие, и убогие, и старые, и малые, и юные, и зрелого возраста лица, и здоровые, и немощные, и даже увечные; и как разнообразны их внешние состояния, так различны и внутреннее духовное развитие, и взгляды, понятия и даже побуждения, так как не всех одни и те же причины приводят в обитель. Ввиду всего этого можно ли требовать от каждого одинакового исправления и преуспевания. И таланты Господь разделил не поровну, а *«комуждо противу силы его»* (Мф. 25, 15) — кому предал один талант, кому — два, а кому и пять, но заметь при этом, что и принявший два таланта, и трудом своим усугубивший их, получил от Господа такую же похвалу и награду, как и усугубивший пять талантов; как тому, так и другому сказал Владыка: *«добре, рабе благий и верный, вниди в радость Господа твоего»* (Мф. 25, 21–23).

Не взыскал Господь десяти талантов с принявшего два только; а как раздавал их по силам каждого, так и взыскал посильного возвращения их. А мы, как немилосердые истязатели друг друга, требуем нередко от ближних наших того, чего и сами исполнить не можем, и, конечно, не исполнили бы, если бы были на их месте. Итак, ищи прежде всего вся-

кого исправления в себе самой; а когда, с помощью благодати Божией, достигнешь сего по мере сил твоих, тогда, наверно, увидишь и ближних твоих, то есть всех сестер твоих, благими, добрыми, дружелюбными: *«Изми पहले бревно из очесе твоего, и тогда узриши изъяти сучец из очесе брата твоего»* (Мф. 7, 5).

Письмо шестое. Об обязанностях клирицы.

Проклят (человек) творяй дело Божие с небрежением
(Иер. 48, 10)

Ты вчинена в лик поющих на клиросе; следовательно, славословишь Господа по образу небесных сил, немолчно воспевающих славу своего Творца и Владыки. Счастлива ты! Но сознаешь ли ты всю святость и важность этого дела Божия, которое без сравнения более, чем какое-либо другое дело, достойно быть названо «Делом Божиим»? Иначе же, нелишне напомнить тебе грозное и страшное слово пророка: *«проклят (человек) творяй дело Божие с небрежением»* (Иер. 48, 10). Видишь, какой страшной ответственности подлежат нерадиво и небрежно исполняющие дела служения Богу. Клирик (или певчий) есть «уста Церкви», то есть общества верующих, молящихся в храме; воспевая молитвы и песнопения, он произносит их не от себя лишь единолично, но от лица всех присутствующих в храме, точно так же, как и все молящиеся произносят молитвы свои устами поющих, почему сии последние и суть — «уста Церкви». *«Пойте Богу нашему»* (Пс. 46, 7), приглашает их святая Церковь, но — *«пойте разумно»* (Пс. 46, 9), думайте и внимайте: Кого воспеваете, Кого молитесь, Кому предстоите? Предстоите Тому, Кому со страхом предстоят и предходят чины ангельские, лица закрывающие! Воспеваете Того, Кому все силы небесные

немолчно возглашают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Уразумей же, сколь высоко дело клирика. Уразумей и подивись милосердию Божию, попустившему и земным грешникам приносить Ему хвалу!.. Это дело небесное, — дело Ангела, а не человека, «нечистыя устне имущаго», как выразился святой пророк Исаия, услышав горния славословия: «*О, окаянный аз, яко человек сый и нечисты устне имый, посреде людей нечистыя устне имущих аз живу*» (Ис. 6, 5). И тебе, немощной, слабой, грешной, вверено такое великое дело. — Это «талант», вручаемый тебе Владыкой, — талант, который ты должна возрастить и умножить разумным употреблением. Со всяким смирением и страхом Божиим скажи мысленно душе своей: «Се тебе вверяет Владыка, душе моя: со страхом прими дар»; и «скрывшаго талант осуждение слышавши, о душе, не скрывай словесе Божия, но возвещай, воспевай славу Его, умножай дарование, да внидеши в радость Господа твоего».

«Не коснит Господь (то есть не замедлит исполнить) обетования Своего», придти вторично и взыскать отчета с рабов, которым вверил Свое имущество, Свои дары и таланты; берегись, чтобы не услышать тебе страшного осуждения: «возьмите от нея талант Мой, который не хотела она возвращать трудолюбие деланием, и ленивую рабы верзите во тьму кромешнюю». Трудолюбное делание клирика состоит в том, чтобы все силы данных ему от Господа способностей он неослабно напрягал к прославлению Господа. Пой во славу имени Божия, пой не только устами и голосом, но пой сердцем, пой умом, душою, волею, желанием, усердием, — всем существом. Это и значит «петь разумно». Пение певца передается в сердца молящихся; если пение исходит от сердца, — оно и попадает в сердце слышащего и настолько влияет на него, что способно возбудить его к молитве, настроить благоговеино даже в те минуты, когда оно само по себе рассеянно и черство. Нередко случает-

ся, что входящие в храм без всякого усердия к молитве, по принуждению или из приличия, — начинают молиться усердно, слезно и выходят из храма совсем в ином настроении, в духе умиления и покаяния. Такое перерождение производит в них благолепное богослужение, хорошее пение. И наоборот, часто случается, что вшедшие в храм с намерением от души помолиться, излить пред Господом свою скорбную душу, слыша в нем рассеянное, небрежное пение и чтение, и сами мало-помалу рассеиваются и вместо пользы обретают вред, сами себе не выносят утешения и, соблазнившись поведением певцов, невольно впадают в грех осуждения. А что говорит Господь о приносящих соблазн: *«Горе — от него же соблазн приходит; — лучше бы ему было, если бы жернов мельничный повесился на шею его и утопил бы его в пучине морской»* (Мф. 18, 7. Лк. 17, 1, 2). Если такой грозный приговор Господа каждому, *«иже соблазнит единаго от малых сих»* (Мф. 18, 6. Мк. 9, 41), то есть от верующих, то не еще ли страшнее наказание заслуживают производящие соблазн клирики и вообще лица духовного сана, которые по самому призванию своему должны служить добрым примером для других, а не соблазном? Итак, бойся соблазнительным стоянием на клиросе, небрежным пением и рассеянным поведением вливать яд соблазна в сердца молящихся, чтобы не подвергнуться обещанному соблазняющим наказанию! Бойся «творить дело Божие с небрежением», чтобы не услышать грозящего за то проклятия! Старайся всеми силами сосредоточиваться внимательно на словах, которые произносишь; произноси их так, чтобы они исходили из глубины души твоей, поющей вместе с устами; тогда звуки песни твоей живительной струей вольются в души слышащих их, и эти души, возвысившись от земных к небесным, отложив всякое житейское попечение, подымут Царя Славы, дориносимого Ангельскими чинами. Поверишь ли ты словам моим, когда я скажу тебе из святоотеческих повествований, что не

только человеческая душа способна умягчаться и умиляться от хорошего духовного пения, но и самые животные, эти бессловесные твари, как-то инстинктивно преклоняются пред ним. Приходилось ли тебе читать жизнеописание афонского инока святого Иоанна Кукузеля? Там приведены следующие два события из жизни этого великого певца. Однажды он пас монастырские стада овец и козлиц. (Вступив в одну из афонских пустынных обителей, Иоанн утаил свое высокое положение при императорском дворе, назвался простым пастухом, почему и был послан пасти монастырские стада в пустыне.) Сидя при своем пасущемся стаде, Иоанн запел божественные песни, которые певал он прежде, находясь в императорском хоре; мелодичный голос его разливался в пустынном просторе, и Иоанн всей душой отдался пению, покоясь мыслию, что он один в пустыне и никто не слышит его. Между тем, его овцы и козы перестали пастись, окружили своего поющего пастуха: словно притаив дыхание, неподвижно стояли пред ним, устремив на него свои глаза, будто очарованные его ангельским пением. Вот как сильно духовное пение, исходящее из глубины души и сознательной мысли! Оно способно тронуть и бессловесных, и несмысленных животных, не только что разумную душу воодушевить и возвысить к своему Творцу.

Однажды Иоанн, по обычаю, пел вместе с другими певцами на правом клиросе акафист Богоматери. После бдения он сел в форму (братское седалище) против иконы, пред которою пели акафист, и, утомленный, он слегка задремал. Вдруг какой-то кроткий сладкий голос пробудил его словами: «радуйся, Иоанн!». Иоанн воспрянул; пред ним стояла Богоматерь в сиянии небесного света. «Пой и не переставай петь, — продолжала Она, — Я за это тебя не оставлю!». При этих словах Богоматерь положила на руку Иоанна червонец и стала невидима. Видишь ли, какой великой чести сподобляются еще здесь на земле усер-

дные певцы, поющие не устами только, но и сердцем, и умом воспевающие Господа и Его Пречистую Матерь! Поистине, как избежать нам праведного суда Божия за наше нерадение, и лень, и небрежение, ради которых мы и самые великие дары Божии обращаем по своему произволу в нашу собственность, которою располагаем, как хотим, согласно нашей злой воли и греховных навыков. Какой чудный и великий дар — дар голоса и способности петь! Даны они нам для того, чтобы ими мы славословили Господа как сами, так и других побуждали к тому же. А как нередко мы обращаем эти таланты во вред себе: надмеемся ими, унижаем ближних, не имеющих их, ленимся употреблять их, как следует, во славу Божию, а когда и употребляем, то не так, как бы следовало и как бы требовало величие этих даров. «Да даст убо тебе Господь разум» понять высоту твоего призвания в должности певицы хора Небесного Царя. Принеси в жертву дар Давшему его, ибо *«что имаши, его же неси приял»* (1 Кор. 4, 7). Не от Бога ли всецелого все наши таланты и способности, и не взыщет ли Он с нас отчета в их употреблении? Придя на клирос и став на своем месте, прежде всего осени себя крестным знамением и приведи себе на память, что ты предстала пред невидимое Лице Царя Славы, Которого и в эти самые минуты, как и всегда и непрестанно, славословят все небесные силы, и что сейчас и твой слабый и ничтожный голос должен присоединиться к этому горнему славословию. Проникнувшись этим сознанием, обратись мысленно к себе самой и скажи себе, то есть всем силам души твоей: уму, мыслям, сердцу, воле, усердию и прочим: *«Приидите поклонимся и припаддем ко Христу, и восплачемся пред Господом, сотворшим нас!»* (Пс. 94, 6). Господь призрит на благое произволение сердца твоего, подаст тебе благодать Свою, обновит твои силы, и, как курение благовонного фимиама, вознесется пение твое пред Пре-

стол Всевышнего. В подкрепление свое и утешение припоминай чаще пресладкие слова Богоматери дивному певцу Ее Иоанну: «Пой и не переставай петь, Я за это не оставлю тебя!». Веруй и надейся, что не оставит тебя Пресвятая Богородица ни в здешней многотрудной жизни, ни в будущей блаженной, где Она «всех Своих песнословцев венцев славы сподобит». Аминь.

Письмо седьмое.

Об излишествах в нарядах и самоукрашениях, столь распространившихся в современном иночестве.

*Красяй ризы своя — упасет мысли скверны
(Сирах)*

В последнем письме моем я довольно говорила тебе о высоте призвания певца или певицы. Все сказанное мною основано на Священном Писании и учении святых отцов и на примерах потрудившихся в сем деле людей и угодивших Господу. Теперь хочу предупредить тебя от того страшного недуга, который почти всегда преследует певцов, а тем более певиц, сначала неприметным образом, под благовидными предложениями (аккуратности и чистоты) вкрадывается в сердца их, а затем, когда уже довольно завладеет ими, то делается как бы властелином их воли, направляя ее к тщательному и внимательному самоукрашению. Юная и неопытная инокиня легко поддается этой удочке врага, которою он так искусно ловляет ее в свои сети; ее душевное око, не просвещенное светом духовного разумения, не прозревает еще той глубины греховной, в которую влечет ее чрез это диавол, не подозревает, что, раз запутавшись в этих сетях, она может погибнуть безвозвратно. Признаюсь, что, начиная писать тебе о сем предмете, я чувствую какую-то неловкость; словно стыдно

становится мне самой себя при мысли о том, «кому пишу?» и «о чем пишу?». Пишу инокине, презревшей мир, избравшей вольную нищету, — невесте нетленного, духовного Жениха — Христа, — пишу о роскоши в одежде, о самоукрашении, об излишестве. Как противоположны, противоречащи эти два понятия! К прискорбию же, между современным иночеством так распространился этот недуг, что не сказать о нем несколько слов в твое предостережение было бы грешно. Для более удобного и ясного понимания я буду говорить последовательно, как зарождается, крепнет и укореняется в душе этот грех и какие пагубные последствия ведет за собою.

Юная инокиня, облекшись в монастырскую одежду, состоящую из черной рясы, подрясника и черного же головного покрова, вступает чрез то в общество инокинь, делаясь «сестрою» их по внешнему образу. Так как в женских общеселениях, по многочисленности населяющих их сестер (простирающейся нередко свыше трех-, четырехсот и более), не может быть выдаваема готовая одежда, то и предоставляется она произволу и возможности каждой сестры для себя. Видя на ком-либо из сестер одежду сравнительно лучшую, малодушная инокиня приходит в какое-то глупое соревнование и задается мыслию приобрести и себе такую же рясу, а если можно, так и еще лучшую. Если она имеет к тому средства, то это ей удастся легко, а если же их она не имеет и приобретает нужное путем заработка рукодельями, то она усиливает свой труд в рукоделии, всякое свободное от общественных послушаний время употребляет на рукоделие ради скорейшего скопления денег на предположенное приобретение; нередко даже, не удовлетворяясь только свободным временем, она жертвует для сего своим покоем, временным отдыхом, сном, старается сократить время общественных работ (или

послушаний), попозже выйти из них, пораньше окончить и уйти в свою келью, чтобы скорее предаться своему делу. Скажу более: она оставляет келейное молитвенное правило, нередко и отходит ко сну вовсе без молитвы, потому что работает усидчиво до последней возможности, и когда уже откажутся ее силы и зрение, бросается на постель. Сколько тут греха?.. Молодые свежие силы, которые незадолго перед сим инокиня несла в жертву богоугождению, утрачиваются безвременно, беспроизводительно в угождение нелепой прихоти, ненужного, излишнего! Оставляется молитва, эта существенная пища души, которая, пребывая главною сегодня и завтра, незаметно черствеет, теряет навык молитвы, лишается внутренней теплоты, ибо производящий ее Дух Святой, оскорбляемый невниманием и нерадением души, удаляется от нее, оставляет ее. Пустота наполняет душу,— пустота, заглушаемая такою же пустою надеждою на приобретение чего-то мнимо хорошего, что в день последний послужит великим осуждением для инока. Но вот приобретена эта желанная вещь, ради которой так много потеряно драгоценного времени! Облеклась инокиня в новую лучшую одежду, явилась в ней среди своих сподвижниц,— и что же? Лучше ли от сего стала она сама? Или лучшими глазами стали на нее смотреть теперь ее старицы или сверстницы? Первые усмотрели в ней малодушие и мелочность, далеко не приличные инокине, а вторые, может быть, и сами заразились ее примером и задумали подражать ей,— тогда «горе ей, как произведшей соблазн», по слову Евангелия. А если еще в юной душе ее, по действию вражью, вкралось желание обратить на себя внимание посторонних или, попросту сказать, понравиться кому-нибудь, то суди сама, как тяжек этот мысленный грех, как велико это преступление! Это некоторым образом как бы

измена души ее небесному Жениху — Христу. Не к стати ли будет обратиться к ней слова великого отца-пустынника, взыскавшего иногда погибшую овцу: «что та бысть не угодно в нетлении чистейшем Женихе твоём Христе, яко тленному и земному умыслила еси угодною сотворитися?»

Роскошные одежды и убранства девственницы (тем более инокини) свидетельствуют о пустоте ее ума и о нечистоте ее сердца и в других могут возбудить нечистые мысли. Ты называешь себя богатою; но инокине прилично лишь богатство духовное. Чистая душа должна гнушаться богатством тленным — роскошными и мягкими одеждами, коими обычно украшаются нечистые блудницы. Вот до каких великих грехов доводят нередко, по мнению вашему, малые отступления и погрешности! Писала я тебе и еще раз повторяю, что и во всякий грех враг нас вовлекает понемногу, незаметно для нас самих, чтобы мы, подметив его козни, не вооружились бы против него и не посрамили бы его; притом вовлекает под благовидными предложениями, которые весьма осторожно представляет нам. Посему и мы должны быть весьма осторожны и осмотрительны во всех путях наших, не исключая и самонаималейших случаев внешней жизни и самых тонких помышлений ума. Излишнее самоубранство, самоукрашение неприлично не только инокине, но и светским благочестивым женщинам. И им святой апостол Петр советует украшать себя *«не внешним плетением влас или одеянием риз лепотных, но кротостию и молчаливостию духа, еже есть пред Богом многоценно»* (1 Пет. 3, 3). А загляни в святоотеческие книги; что они тебе скажут о том, какова должна быть одежда инока или инокини? Монах должен носить такую одежду, говорят отцы, что когда он «бросит ее, то не нашлось бы желающего поднять ее по ее ветхости и непригодности»⁵¹. О, как далеки мы от такого состояния!

⁵¹ Свт. Игнатий Брянчанинов. Отечник.

Сколько в нас малодушия, мелочности! Мы вышли из мира: стены каменной ограды отделили нас от него; но в душе нашей еще живет мир со всеми его обольстительными приманками, и не только живет, но и обладает нами; не мы победили его, а он побеждает нас ежеминутно; не мы посмеялись ему, а он «посмеялся нам, — нашей падкости, мелочности и справедливо корит нас за это». Много бы примеров из святоотеческих книг привела бы я тебе по сему поводу, но ты сама можешь прочесть их; здесь же скажу тебе лишь два случая из современной нашей иноческой жизни, могущие дать тебе хорошие уроки: один — того, как смотрят на наши иноческие наряды благоразумные миряне, а другой — того, как смотрят на них сами благочестивые инокини, разумно и сознательно проходящие свое звание. Оба эти случаи из моего собственного опыта, потому привожу их буквально. В обители, в которой я полагала начало монашеской жизни, было правило, чтобы все певчие сестры, прежде чем идти на клирос, подходили «на поклон», то есть на благословение, к матери игуменьи. Чтобы не утруждать матушку ответными поклонами каждой из нас порознь, мы поджидали друг друга в арке пред солеёй, чтобы идти вместе по две или по три. Однажды, в какой-то праздник, собрались мы в арке, несколько человек; по случаю праздника все мы были принаряжены, то есть одеты в лучшие наши рясы и камилавки с красивыми на руках четками (которые, если сказать правду, тоже нередко эксплуатируются нами, отступая от своего прямого назначения для молитвы). В той же арке стояла одна пожилая благородная дама, молча следившая за нами. Вероятно, не понравилось ей наше внешнее убранство (которое, конечно, на глаз всякого благоразумного христианина не украшает, а безобразит инока), и она громко с горестью воскликнула: «Ах вы, матушки, матушки! оставили вы кусочки, а не оставить вам лоскуточков; уж хоть бы шли себе с Богом на место, — людей

бы не соблазняли!» Во всю жизнь мою не забыть мне этих слов, хотя, по совести говоря, не могла я принять их на свой счет, так как с первой минуты своего вступления в иночество строго держалась простоты в одежде и во всем, ибо все сие имела я, но добровольно оставила, вступив в обитель; одежда моя, может быть, и производила соблазн на кого-нибудь, только не изысканностью своею, а, напротив, небрежностью и простотою; тем не менее, услышав столь меткий урок из уст светской дамы, я глубоко прониклась им и укрепилась еще более в нерадении об одежде, в чем нередко обвиняли меня мои сверстницы и даже смеялись надо мной. Вспоминай и ты почаще этот мудрый урок; не помышляй о нем в сердце с пренебрежением, как сказанном мирскою женщиною, не поставленною учить и назидать инокинь, коих образа жизни с ее строгостями или послаблениями она не ведает; она знала и высказала существенную обязанность инокини «нестыжательность», ясно отрицающую всякое излишество, в чем бы оно ни проявлялось. Господь всякими путями и способами вразумляет нас, нередко и самые ничтожные орудия употребляет для нашего спасения; не слушаем мы наставлений наших руководителей и наставников, не внемлем читаемому в святоотеческих книгах, и посылает нам Господь вразумление чрез тех, кто, по мнению нашему, стоит ниже нас, да смирится гордыня наша, и да узрит *«студ лица своего»* (Пс. 43, 16).

Да как и не узреть его? Как не ужаснуться нам своего внутреннего безобразия, если взглянем поглубже и беспристрастно, без самооправдания на своего внутреннего человека, то есть на свою душу? Какую страшную противоположность найдем мы, когда сравним, сколько попечений, забот, сколько внимания оказываем мы своему телу, и наоборот — как мало уделяем всего этого на долю души. Между тем, нам хорошо известно, что тело, как бы оно ни было украшаемо,

восхолено, должно сделаться пищею червей могильных, добычею тления, по писанному: «земля еси и в землю отыдеши» (Быт. 3,19), а душа, как бессмертный дух бессмертного, превичного Творца, должна унаследовать бессмертие или в наслаждении бесконечного блаженства, или в нескончаемых муках, смотря по тому, что она уготовит себе здешнюю жизнь и чего окажется достойною. Итак, не лучше ли обратиться побольше внимания на душу, чем на тело, или, как поет святая Церковь: «презираши плоть, преходит бо, а прилежати о душе, как о безсмертной» (Тропарь Преподобной).

В сем да укрепит нас Господь!

Письмо восьмое.

Об излишних попечениях вообще, как не соответствующих духу иночества.

*Ищите прежде Царствия Божия и правды
Его, и сия вся (все остальное) приложатся вам
(Мф. 6, 33)*

Кажется, довольно я говорила тебе о греховности и суетности излишних попечений инокини о внешнем самоукрашении и нарядности. Теперь хочу сказать несколько слов о том же по отношению к убранству иноческих келий и к умеренности в пище и питии.

Все это не только не способствует духовному преуспеянию, но и, напротив, разнеживает чувственность плотского человека.

Излишеством называется все то, что не составляет существенной необходимости в жизни, а служит лишь к удовлетворению прихоти. Если и в светской среде излишество не считается плодом благоразумия, то может ли оно быть похвально

в жизни иноков, по самому призванию своему отвергших не только лишнее, но и необходимое, чтобы могли они вместе с Апостолами дерзновенно сказать Господу: *«Се мы оставихом вся и по Тебе идохом»* (Лк. 18, 28). Служить же вместе и Богу, и суете греховной нельзя, как сказал Господь: *«Никтоже может двема господинома работати»* (Мф. 6, 24); в таком случае придется необходимо отдать преимущество одному из них: *«или единого возлюбит, а о другом возненавидит»* (Лк. 16, 13).

Как можешь ты всей душой отдаться Богу, если еще не искоренилось из сердца твоего мирское пожелание и суетность?

Как будешь искать ты «единого на потребу», если все еще *«печешься и молвиши о многом»* (Лк. 10, 41) ненужном, стонном, чуждом для сердца, любящего единого Господа?

И что прельщает вас, бедные инокини?! Красивая обстановка ваших маленьких, смиренных келий, присутствие в них пустых безделушек, картинок?..

Все это ласкает ваше внимание, отвлекая его от заботы об украшении внутренней клетки души, которая должна быть достойным жилищем вашего Небесного Жениха. Или вы не знаете и не помышляете, что Жених этот, восхотевший уневестить Себе души ваши, для чего и призвал Он вас в лик иночествующих, всегда стоит при дверях вашей душевной клетки, желая посетить вас и пребывать с вами, как говорит Он в Откровении святого Иоанна Богослова: *«Се стою при дверех и толку (то есть стучусь): аще кто услышит глас мой и отверзет двери, вниду к нему и вечеряю с ним, и той со Мною»* (Откр. 3, 20). А отдавшись попечению о суетных и мирских делах, которым посвящено все ваше внимание, скоро ли вы услышите толкущего в дверь сердца вашего Гос-

пода, да и услышите ли еще, будучи заняты посторонними делами! Оскорбленный нерадением вашим, Господь не отворотил бы от вас пресветлого лица Своего и, удаляясь от неотверстых для Него дверей сердца вашего, не произнес бы страшного приговора: *«се оставляется вам дом ваш пуст; отселе не имате Мене видети»* (Мф. 23, 38–39).

Да хранит тебя Господь, сестра, от таких пагубных последствий малодушия, суетности помыслов и многопопечительности о пустяках и мелочах, несвойственных твоему призванию. *«Не умом дети бывайте, — пишет Апостол, — а злобою младенствуйте»* (1 Кор. 14, 20). Не говори в оправдание свое, что вся эта ваша мелочность — невинная, безгрешная забава юности; не безгрешна она уже потому, что не соответствует идее иночества; не безгрешна и потому, что отвлекает ум от Бога; может ли умное око твое, будучи подернуто завесою суеты и рассеянности, созерцать свет Божий. В осуетившемся уме не могут обитать высокие мысли, как и в мелочном сердце — глубокие чувства. Келья или комната есть домашнее местопребывание человека; обстановка ее должна необходимо соответствовать потребностям служения и занятий хозяина. Келья инока или инокини есть место их домашних подвигов, молитв, воздержания, ночного бодрствования и т.п. Кельи древних иноков и инокинь устраивались преимущественно в пещерах, подземельях, в горах, как перечисляет Апостол: *«в пустынях скитающиеся, и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных, лишени, скорбяще, озлоблени»* (Евр. 11, 37–38). Ныне же иноки не довольствуются без сравнения более удобным внешним положением своих келий, но и с великим старанием искажают их внутреннюю обстановку, делая из них уже не «кельи», а просто красивые комнатки, возбуждающие скорее соблазн,

чем назидание. Всякий, входящий в келью инокини, ожидает встретить в ней и обстановку иноческую, то есть святые иконы, книги, простую мебель и т.п., но вместо сего взор его встречает нередко далеко не последнее убранство, мягкую, а иногда и роскошную мебель, картины, зеркала и все то же, что привык он видеть и в мирских жилищах. Какое же впечатление он вынесет из этой кельи? не явный ли соблазн вместо пользы,— смущение вместо умиротворения? *«Но горе тому, имже соблазн приходит»,*— говорит Господь; *лучше потонуть в пучине морской, чем соблазнить ближнего* (Мф. 18, 7). Вот как велик в очах человеколюбия Божия грех соблазна, и как велика ответственность за него! А мы и не думаем об этом и не видим греха там, где он есть, или, вернее сказать, не хотим видеть его, потому что он нам нравится и нам не хочется расстаться с ним.

Невоздержные в убранстве и украшении наших жилищ, невоздержные в украшении самих себя излишними нарядами и прикрасами, мы также невоздержны и в пище, и питии. Разве когда-нибудь удовлетворяетесь вы, сестра, предлагаемой вам трапезой? Не всегда ли вы осуждаете ее, ропщете, ищете дополнить ее своими приправами, лакомствами и, что всего хуже, не считаете это грехом! Если бы вы не легкомысленно, а поглубже вдумались в этот вопрос, то, конечно, поняли бы свое заблуждение. Ведь вас, живущих в женских обителях, не десятки, а сотни сестер; чтобы удовлетворить вас ежедневно два раза не одним только хлебом, а и пищею, хотя бы и суровою, но все же свежее и здоровою, потребно немало средств; но об этом вы никогда не рассуждаете, потому что привыкли только требовать пищи, а не добывать ее своим трудом, как добывают иные труженики — миряне, дорожащие каждым куском хлеба, снедаемым ими *«в поте лица своего»* (Быт. 3, 19),

а не за готовой трапезой. К тому же, скажите: разве для вкушения нежной и лакомой пищи пришли вы в обитель? Не на пост ли и на воздержание шли вы? Взгляните опять на иноков древних времен; они в меру вкушали хлеба, а иные питались одними кореньями; они едва утоляли свою жажду одною водою, а у вас чаем и самоварчикам границ нет, конца нет! Когда вступали вы в обитель, то на слова принимавшей вас матушки игумении, что иноческая жизнь должна быть полна лишений и скорбей, вы, не обинуясь, отвечали, что смело идете на эти лишения, что добровольно желаете нести их ради угождения Господу, а что оказалось на деле?! Как скоро попорно чистое чувство усердия к Господу!

Вспомни же, сестра, первые дни твоего вступления в обитель, когда сердце твое горело любовью ко Христу и готово было не только на всякое лишение, но и на самую нищету ради Его. Ты хотела быть Мариєю, приседающей у ног Иисусовых и слышащей слово Его, слово о едином на потребу, слово сладчайшее «паче меда и млека», а сделалась многмятущейся Марфою, пекущейся и молвящей о мнозей службе, но о службе не для угождения Господу, о чем заботилась Марфа, а для угождения себе самой, своим прихотям, своим излишним пожеланиям. Вернись, сестра, к ногам Иисусовым! О, как хорошо возле них! Как сладка божественная речь Его о том, сколь *«блаженны слышащие слово Божие и хранящие его»* (Лк. 11, 28); о том, что в *«дому Отца Его обители многи»* (Ин. 14, 2) и что Он Сам уготовит там место любящим Его, и когда *«придет паки, поймет их с собою, да, идеже есть Он, ту и слуги Его будут»* (Ин. 14, 3); о том, что *«любящие Его и соблюдающие заповеди Его возлюблены будут Им (Ин. 14, 21) и Отцем Его Небесным, и что Он со Отцем Своим придет к ним»*

в сердца и обитель в них сотворит» (Ин. 14, 23). Как отрад-но и утешительно Божественное обетование Его, что «всяк, иже оставит дом, или родители, или братию, или сестры», или что-либо, *«царствия ради Божия, примет множицею во время сие, и в век грядущий живот вечный наследует»* (Лк. 18, 29–30). Если бы чаще ты стала вспоминать эти пресладкие обетования и вдумываться в силу их, то не стала бы прельщаться никакою суетою и пустотою житейскою, *«вся бы вменила уметы (то есть в ничто), да Христа единого приобретаеши»* (Флп. 3, 8). Да наполнит же Он Собою твое сердце отныне и навеки!

Письмо девятое. О празднословии и пересудах.

Глаголю же вам, яко всяко слово праздное, еже аще рекут человецы, воздаят о нем слово в день судный
(Мф. 12,36)

Ты жалуешься, сестра, на постигающие тебя искушения, происходящие, по словам твоим, от каких-то недоразумений, недоверчивости и неосторожности в разговорах. Вот последняя-то, думаю, и есть действительная и главная причина всех ваших искушений и источник всякого зла. По этому-то поводу я хочу написать тебе несколько слов о вреде так обычного между вами празднословия и пересудов, чего вы и сами не замечаете, говоря слишком много, без разбора, нужное оно или ненужное, полезное или вредное, лишь бы что-нибудь поговорить, словно боитесь молчания, между тем как оно-то и есть первая обязанность инокини, главное условие ее преуспеяния и украшение всей ее жизни.

Глубоко укоренилась в людях страсть ко празднословию, то есть к пустым, ненужным разговорам, и сделалась между ними излюбленным препровождением времени. Будто мы не знаем и не верим, что празднословие есть грех, и грех тяжелей, как порождающий собою множество других грехов: споры, распри, пересуды, злословие, осуждение, клеветы и т.п. Да и все разнообразные неурядицы человеческой жизни, коими она переполнена, все возмущения внутреннего покоя души, все это имеет своим источником одно и то же празднословие, так вкравшееся во всю обыденную жизнь, как будто составляет безусловную ее принадлежность и потребность. Если какой грех или какая страсть умеют облекаться в благовидную форму, то это именно — празднословие.

Под предлогом побеседовать, потолковать о каком-либо деле и, начав, действительно, с него, незаметно переходим к вовсе ненужному, пустому и греховному разговору. Болезнь эта, как укоренившаяся зараза, нелегко поддается лечению. Она проникла во все слои как общественной, так и частной жизни; ей работает всякий возраст и пол, всякое сословие и положение в свете, не миновала она и иноческих обителей.

Один глубоко мыслящий, современный нам пастырь пишет об этом, между прочим: «Как легкомысленно, как небрежно обходимся мы со своими словами, коими должны бы весьма дорожить, как великим даром Божиим! Между тем, что у нас пользуется меньшим уважением, как не слово? Что у нас изменчивее, как не слово? Что мы поминутно бросаем, подобно грязи, как не слово? О, христианин! Дорожи твоим словом и будь внимателен к нему!». В словах наших, к коим мы относимся так невнимательно, так безрассудно, заключается или оправдание наше, или осуждение, как говорит нам

Сам Господь наш Иисус Христос: «От словес своих оправдишия, и от словес своих осудишия; глаголю бо вам, яко всяко слово праздное, еже аще рекут человецы, воздадут о нем слово в день судный». Если и одно слово праздное, то есть пустое, ненужное, подлежит ответу в день судный, то какому же осуждению и наказанию подлежим мы, непрестанно и неустанно празднословящие, не стесняясь ни местом, ни временем, ни присутствием посторонних, которых, может быть, и помимо их воли делаем соучастниками наших пустых бесед, и таким образом вовлекая их во грех, подлежим двойному осуждению — и за празднословие, и за соблазн, ибо «горе тому, имже соблазн приходит». Не рассуждаем мы об этом, не заботимся нисколько! Природную способность нашу — говорить — мы извратили в ее назначении. Она дана нам, прежде всего, для того, чтобы славословить Творца нашего, благодарить и прославлять словом, как свойственно словесной твари, если и бессловесная природа прославляет Его своим величием и гармонией, нимало не уклоняясь от определенных ей Творцом законов: «Небеса поведают славу Божию, творение же рук Его возвещает твердь».

Дан нам дар слова еще и для того, чтобы мы понимали друг друга, не инстинктивно, как бессловесные животные, а разумно, словесно излагая свои понятия, кои обильно и ясно открывает нам наш богопросвещаемый разум, этот источник мысли и слова, чтобы могли вести разумные взаимные братские собеседования о предметах обыденной жизни, к ее упорядочению, во взаимное назидание и пользование, в поддержание и утешение друг друга и т.п., а не для того, чтобы пустословили, судили, злословили, судили и осуждали ближних, произнося на них свои приговоры, как немилосердые судьи и истязатели, а не как братья, такие же слабые

и грешные, как и они, если еще и не хуже их. *«Безответен еси, о человеце, всяк судяй, — говорит Апостол, — имже бо судом судиши друга, себе осуждаеши: таяжде бо твориши судяй. Помышляеши ли сие, о человеце, судяй таковая творящим и сам творя таяжде, яко ты избежиши суда Божия?»* (Рим. 2, 1–3). *«Осуждающий брата своего, — говорит другой Апостол, — осуждает закон; если же ты закон осуждаешь, то ты не исполнитель закона, а судья»* (Иак. 4, 11). И какое великое зло происходит от пустых и праздных бесед и пересудов; иногда одно легкомысленно сказанное слово производит целую бурю неприятностей и наполняет негодованием и ненавистию сердце того, к кому оно относится, так что и незлонамеренное слово, которое мы считаем за ничто, порождает смертный грех, подобно тому, как малая искра нередко переходит в сильное пламя, пожигающее целые селения. *«Мал — огонь, и копь велики вещи сожигает», — говорит апостол Иаков. — «Такожде и язык — мал уд есть, а вельми хвалится»* (Иак. 3, 5); *он есть огонь, скопище неправды, он заражает все тело, восплаляет круг (круговорот) жизни, сам будучи восплаем от геенны* (Иак. 3, 6, 7). *Язык — неукротимое зло, исполненное смертоносного яда. Им благословляем Бога, им же и проклинаяем человека, сотворенного по образу Божию. Из тех же уст исходит и благословение, и проклятие. Не должно, братие мои, сим тако быти! Течет ли из одного отверстия источника и сладкая, и горькая вода?* (Иак. 3, 8–11). — *Если кто мудр и умен, — докажи это самым делом, добрым поведением, а не осуждением других. Если же в сердце (твоем) есть горькая зависть и сварливость, не хвались и не лги на истину (то есть не считай себя мудрым). Это не есть мудрость, сходящая свыше, а — земная и бесовская, ибо где зависть и распри, там нестроение и всякое зло»*

(Иак. 3, 13–16). Вот какой вред всех наших пустословий и пересудов. И если не свойственны они и вообще христианам, то не тем ли менее прощительно инокиням, добровольно отрехшимся мира со всеми его мирскими греховными обычаями, уединившимися в своих монастырских затворах, для более беспрепятственного внимания своему спасению. Враг всеобщего спасения, зная немощь человеческую, при всей готовности к богоугождению, все же склонную к исканию себе послабления и утешения, не замедлил и тут всеять свои плевелы среди пшеницы Божией. Вы, инокини, с уходом вашим из мира, оставили и все его утешения и наслаждения, позволительные людям светским.

Единственное утешение для вас составляют ваше общение и беседы друг с другом. Начальницы ваши как благоразумные и добрые руководительницы не стесняют вас, не возбраняют вам этих невинных соутешений, вам дозволяется и посещать друг друга, и в свободное время прогуливаться вместе, да и на общественных монастырских послушаниях, где вы собираетесь, можете беспрепятственно беседовать друг с другом; но вы злоупотребляете этой свободой; не извлекая из нее пользы и истинного, духовного утешения, а напротив — вред, споры, пересуды и несогласия, от которых, как от искры, возгорается сильное пламя, пожигающее все ваши монашеские труды и подвиги, таким образом вы утрачиваете и спасение свое. Или не знаете вы изречений апостольских: *«Кийждо нас о себе слово даст Богу»* (Рим. 14, 12), *«готову существу судити»* (1 Пет. 4, 5). О, если бы собирались вы между собою, как древние инокини для духовного назидания, для взаимного научения, беседовали бы не о посторонних вещах и делах, вас не касающихся, а о том, как кто из вас «содевает свое спасение», как и какое несет келей-

ное правило, какие предпринимает подвиги, и таким образом назидали бы и поддерживали одна другую на скользком пути вашем, простирая друг другу руку помощи, и сбылись бы на вас слова Премудрого: «брат братом подкрепляем, яко град тверд». И было бы собрание ваше подобно собранию Ангелов, у которых, несмотря на множество, у всех одна общая святая воля, одно стремление, — как бы исполнить волю Творца. О, сестра, даром и наш иноческий чин называется чином ангельским!.. Ведь и мы все, собравшиеся во святой обители во имя Господа, имеем одну и ту же волю, одно общее всем нам стремление, — *«еже како угодити Господу»* (1 Кор. 7,32); нет у нас земных уз, привязывающих нас к миру, нет забот и попечений житейских, опутывающих наши крылья для полета к Небесному Жениху нашему! Мы свободны, как птицы небесные, *«кои не сеют, не жнут, не собирают в житницы, а Отец ваш Небесный питает их»* (Мф. 6, 26). Будем же помнить наше равноангельское призвание, и *«достойно ходите звания нашего, в неже звани быхом, со всяким смиренномудрием и кротостию, с долготерпением, терпяще друг другу любовию, тщащися блюсти единение духа в союзе мира»* (Еф. 4, 1–3), как поучает святой Апостол.

Письмо десятое.

О неизбежности скорбей в иноческой жизни и о добровольном избрании скорбного пути.

*Никтоже возложь руку свою на рало и зря
вспять, управлен есть в Царствии Божии*
(Лк. 9, 62)

Опять ропот, опять жалобы, опять те же богопротивные и бессмысленные слова: «Не могу терпеть!», «Отовсюду

скорби!». Богопротивны они, как ропот неблагодарной, облагодетельствованной Богом души, и бессмысленны, как не имеющие единства с твоим собственным разумом, чувствами и действиями!

Скажи: вступила ты в обитель иноческую по чьему-либо совету или принуждению, или в силу каких-либо обстоятельств? Не по своему ли собственному желанию, даже вопреки желанию и предостережению твоих родителей и друзей? Когда говорили тебе о трудности иноческой жизни, — ты изъявляла полную готовность на всякие скорби и лишения. Ты утверждала, что только в иночестве и можешь найти покой своей душе, удовлетворив ее стремлениям. Следовательно, произвольно вступила ты на этот путь и, вполне сознавая, что путь этот не *«широкий и простран- ный (то есть легкий), а узкий и тесный»* (Мф. 7,13,14), как сказал Господь, Подвигоположник наш, *«нам оставивший образ, да последуем стопам Его»* (1 Пет. 2, 21).

Что же ты сама себя прельщаешь, сама себе противоречишь? Путь не назывался бы «тернистым», если бы на нем не было терние; не назывался бы «узким» и неудобопроходимым, если бы был широкий и просторный. Ведь закон вещей сам себе не противоречит, как мы нередко противоречим сами себе в своих поступках и даже понятиях. Или уже переменилось твое сердце и то, что ты прежде любила, ныне уже возненавидела; к чему прежде стремилась, от того ныне отвращаешься? Где твоя готовность на всякие скорби и лишения ради сладчайшего твоего Жениха — Христа, к Которому стремилась душа твоя? Вспомни, что *«никтоже, возложь руку на рало и зря вспать, управлен есть в Царствии Божии»* (Лк. 9, 62). Суди по примеру обыденной, внешней жизни. Если странник, предпринимающий трудный и далекий путь, при каждом затруднении на

этом пути будет останавливаться, озираться назад, колебаться мыслью, — не лучше ли ему вернуться, то скоро ли достигнет он цели своего путешествия, да еще и достигнет ли? Так и мы, земные странники, вышедшие на крестный иноческий путь, чтобы войти в светлый Чертог Божественного Крестноносца, Небесного нашего Жениха — Христа, если при всякой неудаче и трудности будем останавливаться на пути, озираться назад, едва не готовые вернуться, — скоро ли дойдем, да и дойдем ли до желанного Небесного Чертога?! Не остаться бы нам «вне толкущими» (Мф. 25, 11–12) с юродивыми девами евангельской притчи?! Не подвергнуться бы осуждению с ропотливыми иудеями, за ропот не вошедшими в землю обетованную?! (Чис. 14, 23–30). Не превратиться бы, наконец, в соляной столп, подобно жене Лотовой, которая, быв выведена Ангелом из Содома и Гоморры, обреченных на погибель за беззакония, и направленная на путь спасения от ужасной смерти, — вопреки запрещению «обратилась вспять» (Быт. 19, 26) — погибла на самом уже пути ко спасению?!

Не то ли же самое случается и с тобою? Как часто ты озираться вспять с пути спасительной иноческой жизни, на которой извел и поставил тебя всеблагий Промысл Божий! Как часто приходит тебе искусительная мысль сомнения о спасительности этого пути и только потому, что испытываешь на нем некоторые трудности, встречаешь скорби, напасти и невзгоды! «*Всем сим подобает быти*» (Мф. 24, 6), ибо в сем-то и заключается твое спасение. Душа твоя, смущенная, колеблющаяся, может ли пребывать в страхе Божиим? Духовное око ума твоего может ли ясно созерцать свет Божий, будучи подернуто облаком уныния? Сердце твое, как бы раздвоенное, может ли всецело принадлежать Единому Небесному Жениху — Христу? — «*Муж двоедушен неустроен во всех путех своих*»

(Иак. 1, 8). Скажу тебе словами Апостола: *«Боюсь о тебе, еда како всуе трудихся»* (Гал. 4, 11), еда како всуе трудишься и ты сама, давая место врагу в твоём сердце. *«Познавши убо Бога, паче же познана бывши от Него, како возвращаешия паки на немощныя и худыя стихии, им же паки служити хотящи»* (Гал. 4, 9). Нет, сестра! — «терпением да течем на подлежащий нам подвиг, взирающе на начальника веры и совершителя Иисуса, Иже вместо подлежащая Ему радости, претерпе крест, о срамоте нерадив». Помышляя о страданиях Господа, не унывай ни при каких искушениях, не расслабевай душой, ибо еще *«не до крови боролась ты, подвизающися противу греха»* (Евр. 12, 1–2, 4) или терпя скорби; *«аще бо терпим с Ним (то есть ради Господа), — с Ним и воцаримся; аще с Ним умираем, — с Ним и оживем; аще ли же отвержемся Его, — и Той отвержется нас»* (2 Тим. 2, 11–12). Или забыли вы, говорит Апостол к Евреям, «или забывали в утешение, которое предлагается вам, как сынам Своим?» Говорит Господь: *«сыне мой, не пренемай наказанием Господним, ниже ослабей от Него обличаем. Его же бо любит Господь наказует, бьет же всякаго сына, его же приемлет»* (Евр. 12, 5, 6). Итак, сестра, терпи, не ослабевай духом; жди искушений и скорбей, как неизбежных и даже необходимых посетителей; иди навстречу им мужественно, с готовностью и даже с радостью вспоминай святых мучеников: с какою радостью шли они на страдания и на самую смерть; «люта зима» страданий, говорили они, «но сладок рай; — кратки мучения, но вечно воздаяние»! (Стихира 9-го марта, св. 40 мучеников Севастийских). Как на пир, на торжество шли они на мучения: ни раздробление удов, ни колесование, ни растерзание зверьми, ни потопление в водах, ни сожжение в огне, ничто и ничто не устрашало их, они во услышание всего мира восклицали с Апостолами:

«Кто ны разлучит от любви Божия? ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни глад, ни беда, ни смерть, ни живот, ничто не возможет нас разлучити от любви Божия» (Рим. 8, 35–39). Не свои слова, не своего слабого мудрования речи привожу я тебе в назидание и утешение, а, как видишь, — слова Святого Духа, вещавшего чрез Апостолов всему миру на вразумление и утешение всем трудящимся на пути спасения и обременяемым скорбями и невзгодами житейскими, — слова Господа нашего Иисуса Христа, призывающего к себе всех таких тружеников: *«приидите ко Мне, вси труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы; научитесь от Мене кротости и смирению и обряцете покой душам вашим, иго бо Мое благо и бремя Мое легко есть!»* (Мф. 11, 28–30). О, дабы дал бы тебе Господь почувствовать и опытом изведать, коль благо иго Господне и коль легко бремя Его!.. Может быть, и достигнешь ты этого с помощью благодати Его; а пока постарайся утвердить сердце твое в непоколебимой покорности воле Божией, в твердом уповании на св. Промысл Его, без которого ничто с нами случиться не может, ни даже самонаименьшее, «ибо и власи главнии наши вси изочтены суть» у Него. *«Не две ли птицы ценятся ассарием единым», говорит Спаситель наш: «и не едина от них падет на землю без (воли) Отца вашего. Не убойтесь убо, — мнозех птиц лучше есте вы!»* (Мф. 10, 29–31). О, великого Твоего милосердия к нам, грешным, Владыка наш Господи! О, всеблагого Твоего о нас промышления! Твори с нами, неразумными, все по Твоей о нас воле всеблагой и всесовершенной, вложи же в сердца наши дух смирения и беспрекословной покорности Тебе, яко Твоя есть держава во веки!

Письмо одиннадцатое. О болезнях и их врачевании.

*От многих моих грехов немощствует
тело, немощствует и душа моя*
(Канон молебный Богоматери)

Слава Господу Богу, восставившему тебя, сестра, с одра болезни твоей! Слава Ему Всеблагому, дарующему тебе еще новое утро жизни,— жизни, обновленной путем долговременных тяжелых страданий от недугов телесных, а с ними, конечно, и душевных, ибо от многих наших грехов немощствует тело, немощствует и душа.— Видишь, в чем усматривает святая Церковь причину всех наших недугов и телесных, и душевных,— в грехах наших; «много бо согрешаем вси» (Иак. 3, 2), как говорит Апостол; согрешаем мы душою и телом, словом, делом и помышлением, ведением и неведением, волею и неволею; злой навык ко греху насильственно влечет нас, как невольников, как покоренных себе пленников: «*Не еже бо хошу — творю, но еже не хошу, сие содеваю*», как пишет святой апостол Павел (Рим. 7, 19). Овладев душою, грех водит ее по стремнинам погибели, и «*еще не Господь помог бы ми, во мале вселилася бы во ад душа моя*» (Пс. 93, 17). Но Господь, Господь помощник наш! Он удерживает нас от погибели и, простирая руку помощи, восставляет нас, падающих. Если же мы не внемлем Его предостережениям, Он отечески наказывает нас скорбями и болезнями, чтобы чрез них, очистив душу нашу, как золото в горниле, обновить и снова восстановить ее на служение Ему делами благими. Так и тебя, сестра, Господь помиловал, восставил от одра болезни, обновил тебя чрез долговременные и тяжелые страдания: «*Се здрав еси, ктому не согрешай, да не горше ти что будет*» (Ин. 5,14),— сказал Господь исцеленному Им расслабленному. Прилично

и тебе повторить себе самой эти слова: «се здрава еси, блюди же, да не горше ти что будет». Испытай, проверь себя гласом твоей совести, не навлекла ли ты чем-либо на себя гнев Божий, выразившийся посланною на тебя болезнию. Ибо Он, чадолюбивый Отец наш, *«наказует любимых чад Своих»* (Евр. 12, 6), ибо «как злато искушается в огне, так возлюбленные Божии в печи скорбей и страданий», по слову премудрого Сираха (Сир. 2, 5), искушаются Господом, *«не хотящим, да кто погибнет, но да вси в покаяние придут»* (2 Пет. 3, 9).

Конечно, не всегда Господь посылает скорби и болезни как наказания за грехи; есть множество примеров, что страдали великие праведники, как, например, ветхозаветный многострадален Иов и многие другие. Им посылал Господь страдания для усовершенствования их в терпении и смирении, и в святости, у которой нет пределов, доколе не достигнет человек исполнения *«в меру полного возраста Христова»* (Еф. 4, 13). И нам, грешным, попускает Господь иногда страдать для того, чтобы мы чрез терпение с покорностью воле Божией могли доказать нашу сыновнюю преданность Ему, неизменную любовь и полнейшее смирение. В сем случае мы должны повторять богомудрые слова Многострадального: *«аще благая прияхом от руки Господни, злых ли не стерпим»* (Иов. 2, 10), и с покорностию переносить все ниспосылаемое не как напасть какую или несчастье, а как милость Божию, ибо, на самом деле, оно и есть милость Его, только в скорбной для нас форме направляемая к нашему спасению: путем кратковременных и сравнительно легких страданий избавляемся от вечных, нестерпимых адских мучений, заслуживаемых бесчисленными нашими грехами.

Ты пишешь, что во время болезни обращалась ко многим врачам, строго исполняла все их предписания, но ничто не облегчало болезни. Я радуюсь этому, если по правде сказать

тебе; радуюсь, конечно, не тому, что ты дольше страдала, чем если бы при быстрой помощи от врачей, а тому, что настоящее выздоровление свое можешь всецело приписать не человеческому искусству или попечению, а единственно милости Божией, *«да премножество силы будет Божия, а не от нас»* (2 Кор. 4,7), как говорит апостол Павел. Впрочем, если бы даже и получила ты облегчение от врачебной помощи, то и в таком случае не иначе как по воле Божией, по милости Его, чрез посредство человека на тебе проявленной, *«от Вышняго бо есть исцеление»*, и *«от земли Господь созда врачевания»*, как пишет премудрый Сирах (Сир. 38, 2, 4).

Итак, ты здорова, — благодарение Господу! Ты пишешь, что чувствуешь себя как бы обновленной, как бы вновь начинающей жить. Да оно так и есть, так и быть должно; человек, находясь на одре тяжкой болезни, лежит как бы на весах жизни и смерти, — которая сторона перетянет; не раз ты уже мысленно готовилась к переселению в вечность, не раз напутствовалась туда Святыми Тайнами тела и крови Христовой, которые преподавались тебе «во исцеление души и тела», и вот — исцелилось твое тело, обновилась душа, ибо что животворнее этой величайшей святыни? Она исцеляет недуги, она возвращает от врат смерти, сообщает душам новые благодатные силы, и восстановленный ими человек делается весь как бы новым, возрожденным, какова теперь и ты. Блуди же себя, блуди опасно, то есть внимательно, *«да не горше ти что будет»*, храни здоровье, как драгоценный дар Божий, не допускай ничего такого, что могло бы повредить ему, будь осторожна, воздержана во всем, и это предохранит не только здоровье твое телесное, но и душевное; *«се здрава еси, ктому не согрешай, да не горше ти что будет»* (Ин. 5, 14).

Письмо двенадцатое. О молитве.

Даяй молитву молящемуся
(Песнь 3-я, ст. 11)

Ты жалуешься, сестра, на неисправность свою в молитве: леность, рассеянность и т.п. — и просишь меня сказать тебе по поводу сего несколько слов о молитве.

Молитва — это такое глубокое море, из которого исчерпать все хранящиеся на дне его сокровища — недоступно моему разуму и непосильно моей немощи, да и возможно ли в нескольких кратких словах письма высказать хотя бы часть того, что писали о молитве богомудрые, опытом изведавшие силу благодатных даров ее.

Один из отцов, святой Иоанн Лествичник, вот что говорит о молитве: «Молитва есть ангельское упражнение, примирение души с Богом, очищение грехов, мать и дочь слезного покаяния, надежный мост чрез волны искушений, просвещение мысли, пища души, разрушение всякой печали, будущей радости предвкушение. Молитва — богатство иноческое, пустынников сокровище».

Истинная молитва есть дар Божий, даруемый «молящимся», то есть трудящимся в ней неослабно, постоянно, неленостно, по писанному: «даяй молитву молящемуся». Если ко всякой добродетели навык приобретается не вдруг, а по мере упражнения в ней, то тем более навык к молитве требует более продолжительного труда и неослабного самопринуждения. А между тем, не удивительна ли эта печальная истина, что душа человеческая так косна и не усердна к молитве! Ведь молитва, как всем известно, есть беседа с Богом, — есть возношение ума и сердца к Богу, Который и есть Первообраз

и Начало души нашей. Не естественно ли, кажется, стремиться душе к своему Началу, к сродному ей Первообразу! — С какою поспешностью стремимся мы побеседовать с близкими нам и любимыми нами людьми, с какою готовностью открываем свои дела и нужды сильным и могучим мира сего, с какою охотою показываем врачу свои раны и болезни, — а в молитве, представ пред любящим нас Отцем Небесным, о Котором и мы имеем смелость сказать, что любим Его, пред Врачом нашим благодатным, Архиереем великим, *«могущим спострадати немощем нашим»* (Евр. 4, 15), пред Царем царствующих и Господом господствующих, — стоим не только не с достаточным благоговением, без надлежащей любви и стремления к Нему, но нередко даже и без внимания, как бы насильно, по обязанности, а не по влечению сердца. Не странно ли это и не прискорбно ли, и какая может быть сему причина?

Причин этому много, главная из них и как бы коренная причина — это та, что мы чрезмерно оземленились, осуетились настолько, что уже не душа господствует над подвластной ей плотию, а наоборот, — плоть поработила душу, эта рабыня тления: многострастная плоть взяла верх над бессмертною, свободною душою, и дебелостью своею как бы придавила крылья ее, затруднив ей полет к небесам! Многомятежная жизнь наша на земле так осуетила нас, так опутала своими тенетами, что трудно нам стряхнуть их с себя и на один час, чтобы чистыми предстать пред пресветлое Око Божие и чистым сердцем узреть свет Солнца славы, Христа, ибо только *«чистии сердцем Бога узрят»* (Мф. 5, 8). Дела какие-либо, самые обыденные, мелкие, которые мы и сами отлагаем или, по крайней мере, не спешим исполнить по их маловажности, во время молитвы всплывают на поверхность нашего душевного моря, волны которого только что начали утихать для мо-

литвы, и если по самому началу, заметив лишь эти вражьи прилоги, мы не поспешим побороть их и отбросить от себя, они станут настойчиво возмогать, воздвигнут целую бурю смущения, помыслов, быстро сменяя их одни другими и, наконец, совсем отторгнут нас от молитвы.

Бедные мы и неискусные! Как скоро поддаемся мы вражиим наветам! Мы еще и начала не положили преуспеянию в молитве, не только не вкусили плодов ее!

Святой Иоанн Лествичник подразделяет на три степени молитвенный подвиг. «Начало молитвенного преуспеяния, — говорит он, — состоит в том, чтобы приходящие к нам на молитве посторонние мысли отражать при первом их появлении твердым произволением ума. Вторая, или средняя степень доказывается тем, когда кто находящие помыслы во все не приемлет и, как бы не примечая их, пребывает нерассеянно и неуклонно во внимании читаемым молитвам или молитвенному размышлению. Третья же, совершеннейшая степень молитвы, состоит во всецелом восхищении души и ума нашего к Богу». Этой степени достигают люди совершенные в духовной подвижнической жизни; впрочем, по Своему великому милосердию вкусить такового состояния дает Господь иногда людям и мало еще преуспевшим, но все же трудящимся в молитвенном деле. Скажу тебе два примера из таковых.

Когда я была еще новоначальной послушницею, старица моя, монахиня Г., послала меня к другой старице — монахине Ф. Время было после вечерни, когда сестры по большей части ужинают в трапезе. Подошел к дверям кельи старицы, я, по обычаю, прочитала молитву, но, не дожидая ответа, отворила дверь; переступив порог кельи, я увидела: в переднем углу перед иконами стоит старица Ф. на коленах, с воздеты-

ми руками, взор устремив кверху, на иконы. Очевидно, она не заметила, когда я вошла, несмотря на то что я проговорила молитву громко, да и дверь значительно скрипела. Кроме молящейся никого не было в келье. В недоумении стояла я у порога, не смея шевельнуться и не зная, как поступить: остаться в келье — я боялась смутить старицу, когда она, пришед в себя, увидит свидетельницу своей высокой молитвы; и уйти — боялась вновь заскрипеть дверью, да мне и не хотелось уходить. За дверьми в коридоре стали раздаваться веселые голоса сестер, идущих из трапезы по кельям, и я готовилась предупредить двух послушниц этой старицы, которые тоже должны были вернуться; но они не приходили, чему я была очень рада. Около 20 минут простояла я в таком состоянии у порога, старица не переменила своего положения, не шевельнулась, лишь всхлипывания ее по временам и какие-то невнятные возгласы свидетельствовали о том, что она жива или не спит. Наконец, руки ее опустились, а голова наклонилась до земли, с которой чрез несколько минут поднялась снова. Поняв, что старица очнулась от своего молитвенного восхищения, и не желая смутить ее, доказав свое здесь присутствие, я, приоткрыв дверь, громко прочитала входную молитву, делая вид, что будто бы только сейчас вхожу. «Аминь», — ответила она мне и поспешно стала садиться на стул, стоявший подле нее. Я, поклонившись, сообщила дело, с которым была послана. Но старица как будто не слыхала моих слов, да она и не могла их расслышать, все еще находясь душою в лучшем, нездешнем мире. С недоверчивостью смотрела она на меня и, наконец, спросила: «А ты давно пришла сюда?» Я подтвердила свой обман, что сейчас только вошла, скрипнув дверью и сотворив молитву. Но, вероятно, вид мой выдал меня; ибо я едва сдерживала слезы,

умилившись каким-то ангельским спокойным выражением лица монахини; впрочем, я продолжала подтверждать свою ложь с единственной целью не смущать монахини.

Она все время молчала, как бы занятая другою мыслию и не слыша моих слов; замолчала и я, но уже более не могла сдерживать слезы; между тем меня тревожила мысль о том, что я скажу пославшей меня моей старице и чем объясню мое замедление.

Монахиня Ф. все еще сидела молча, устремив взор на одну точку; из глаз ее катились слезы, но она и не думала обтирать их, да, кажется, и не чувствовала их, вся она была еще вне себя, точно жаль было ей только что миновавшего восхищения. Наконец, она снова спросила меня: «Давно ты здесь?» На этот раз я уже не имела силы ответить что-либо, молча поклонилась я ей до земли и сама не понимаю, как возымела дерзновение спросить ее: «Матушка! Что с вами было?» Она широко устремила на меня глаза, выражавшие недоумение, но отвечала кротко: «Со мной ничего не было, дитяtko, а словно я куда-то слетала, что-то видела», и она снова заплакала; потом, помолчав немного, продолжала: «Одно скажу: слава Тебе, Господи!» — и она перекрестилась. «Иди с Богом и умолчи, ни слова, слышишь, никому, а старице своей скажи, что я тебя задержала». Старица эта, Феоктиста, была из простого крестьянского сословия, малограмотная, если еще и не вовсе безграмотная; долго она исполняла трудное послушание сборщицы, а когда ослабела под старость, была освобождена от послушаний и только ходила на церковные богослужения, как и все подобные ей старицы-монахини. Келейная жизнь ее, судя по внешнему виду, была обычная всем монахиням, а внутреннее устройство души одному Сердцеведцу известно.

Расскажу и еще пример подобной молитвы, возносящий молящихся превыше земли. В том же нашем монастыре была одна сравнительно молодая монахиня, но весьма благочестивая, духовная; жила она с двумя молодыми послушницами.

Случай, о котором я хочу говорить, имел место в одну из суббот великого Поста. После обеда обе послушницы отлучились куда-то, а монахиня, пользуясь уединением, захотела помолиться. Вот как рассказывала она мне о сем случае: «Помню только, что я стала читать наизусть акафист Сладчайшему Иисусу, присутствие Которого я еще ощущала в своем сердце, ибо только в тот день приняла Святые Тайны. Читаю икос, читаю другой, чувствую, что душа моя все больше и больше умиляется и согревается любовью к Господу, помню, что мало-помалу вся я и душой, и телом начинаю как бы трепетать, обливаясь слезами, силы физические изменяют мне и, чтобы не упасть, становлюсь на колени и повергаюсь ниц пред святыми иконами, продолжая мысленно читать акафист; кажется, уже до половины прочитала я его, но затем ничего уже не помню; все окружающее меня в келье, самый пол, на котором лежала ниц, все словно скрылось куда-то, а мне виделось все иное: словно вдали Престол Божий, и Сам Иисус восседит на нем; вокруг Престола бездна стоящих, не знаю — людей ли или Ангелов, но все они поют дивно, дивно хорошо; я тут же позади всех стою и наслаждаюсь. Больше я ничего не помню и сказать не могу. Долго ли длилось это видение — я тоже не знаю; только потом сказывали мне мои келейные послушницы, что, когда они пришли в келью и увидели меня поникшею перед иконами, подумали сперва, что я молюсь, а затем, так как я долго не подымалась, — приняли меня за спящую, стали окликать меня,

но безуспешно, — и оставили меня в покое. Когда я пришла в себя от чудного восхищения и видения, в келье опять не было никого, чему я была весьма рада. Пол, на том месте, где лежала голова моя, был так обильно смочен слезами, как бы пролита была на него вода, — значит, телесные члены не были лишены жизни в то время, — глаза источали потоки слез, но я этого не чувствовала и не знала. Да вернее сказать, я и совсем не знаю, что было со мною, но сладость, наполнившая мое сердце в те святейшие минуты, долго оставалась в нем, как залог небесного посещения».

Видишь, сестра, примеры высокой, созерцательной молитвы современных нам монахинь. Кто же мешает и нам с тобою достигать этой высоты? В святоотеческих книгах весьма много подобного рода примеров, но я нарочно привела тебе таковые из жизни современной, потому что мы, читая и слушая повествования о великих подвигах святых, часто говорим в свое оправдание: «То были святые!.. То было в те прежние времена! А теперь и люди слабые, и время не то!» Так вот, уразумей из опыта, что и теперь есть истинные подвижницы. Не время, не место делают человека святым, а доброе его произволение и твердая воля. Молись неослабно, и Господь не лишит тебя Своей благодати.

**Письмо тринадцатое.
О молитве внутренней (умной),
тайно в сердце совершаемой.**

Близ ти глагол сей, во устех твоих и в сердце твоём
(Рим. 10, 8)

В последнем письме моем я говорила тебе, сестра, о молитве вообще; теперь скажу несколько слов о молитве ис-

ключительно внутренней, или так называемой «умной», потому что она совершается лишь умом и сердцем тайно, без всяких внешних знаков. Будучи исключительно духовного характера, она не должна и не может стесняться ни местом, ни временем, ни каким-либо другим условием, но как беспределен и безграничен Дух Святой, оживотворяющий молитву, так безгранична, непрестанна и повсюдна молитва души, втайне творимая: *«На всяком месте владычества Его (Божия) благослови, душе моя, Господа!»* (Пс. 102, 22). *«Вечер и заутра и полудне аз к Богу воззвах»* (Пс. 54, 17, 18). *«Непрестанно молитесь»* (1 Сол. 5, 17), — учит святой апостол Павел. Очевидно, что Апостол разумеет тут молитву внутреннюю, молитву сердца и ума, не внешнюю, в которой участвовала бы и плоть, ибо невозможно нашей немощной и деблоей плоти непрестанно, неуклонно предстоять на молитве как по самой немощи ее, так и по безусловной зависимости ее от обстоятельств внешней жизни, в которых она обязана принимать участие. Внутреннюю же, тайную молитву может и должен держать каждый, по слову Апостола: *«Потаенный сердца человек в неистлении кроткаго и молчаливаго духа»* (1 Пет. 3, 4), предстоя пред Господом.

Если Апостол учит всех христиан «непрестанной» молитве, то не тем ли более таковая молитва составляет непременную обязанность иноков, как добровольно сложивших с себя излишние житейские заботы и посвятивших себя исключительно молитве и богомыслию. При надевании иноческой одежды (рясы) вновь вступающему послушнику вручаются, между прочим, и четки для вещественного напоминания о непрестанной молитве, которою должен заниматься новоначальный, постепенно обучая себя этому «духовному

деланию», как называют святые отцы-подвижники умную молитву.

Ныне и четки, как и многое, имеющее высокодуховное значение, утратили свое значение; четки в настоящее время служат не столько принадлежностью для молитвы, сколько принадлежностью для наряда, и чтобы быть лучшим украшением, делаются ныне не из ниток или шерсти, каковыми делались прежде «вервицы» (то есть веревочные узелки), или, как их еще называли, «лестовки», а из бус, иногда даже и весьма непростых. Малодушные инокини тешатся ими, как дети, и щеголяют одна перед другой. Не во многих уже обителях сохраняется еще обычай совершать по четкам общее молитвенное «правило» с поклонами или без них, сообразно уставу. Что же касается прямого назначения четок, состоящего в упражнении по ним инока в непрестанной внутренней молитве, — оно почти вовсе утрачено.

Впрочем, я не хочу этим сказать, чтобы помимо четок нельзя было бы приобрести навыка внутренней молитвы; напротив, я лично знаю людей, никогда не имевших в руках четок, как не принадлежащих к иноческому сословию, а стяжавших высокосозерцательную «умную» молитву; ни общество людей, среди которого они вращаются, ни суэта мирской жизни, их окружающая, — ничто не отвлекает их от непрестанной внутренней беседы с Богом, Которому они всегда предстоят умом и Которого непрестанно носят в сердце.

Такое состояние души есть плод долговременного труда, неослабного самовнимания и постоянного самопринуждения к молитве (умной). Если доступно оно и возможно для людей и среди мира живущих, этих тайных рабов Божиих, сокровенно работающих Господу, то не тем ли более доступно и обязательно для иноков; потому-то тебе, как инокине,

по самому призванию своему обязанной хранить непрестанную внутреннюю молитву, я указываю, между прочим, на четки, данные тебе вместе с иноческим одеянием не как простая принадлежность его, а как начальный обучитель молитве и как вещественное напоминание о ней. Долговременный, неослабный труд, постоянное самопринуждение, как я сказала, потребны для стяжания внутренней непрестанной молитвы, но не забывай, что и всякое преуспеяние в чем бы то ни было, хотя бы и в светском знании или искусстве, требует тоже немалого труда, усиленных и постоянных упражнений, пока не приобретется известный навык и полное познание. Если не положим начала делу, то как совершим его? Если же не совершим или, по крайней мере, не потрудимся в нем, то *«воздадим о нем слово в день судный»* (Мф. 12, 36). Не на свои немощные и убогие силы полагаясь, а на всемогущую благодать и помощь Божию надеясь, начнем понемногу приучать свое мятущееся сердце к божественной тишине сладчайшего Иисуса, ибо Он есть «един Царь мира».

«Идеже есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше» (Мф. 6, 21), — говорит Господь. Если бы мы все сокровище свое, то есть все дорогое для нас и любимое нами, полагали в одном Господе, то, без сомнения, Он один и наполнял бы Собою наше сердце и мысли и все духовное существо наше; учение апостола о непрестанной молитве не было бы для нас заповедию многотрудною, а было бы лишь исполнением потребности своей души и удовлетворением стремления ее — быть всегда с Господом неразлучно сердцем и умом. Непрестанная молитва «умная» была бы неотъемлемою драгоценностью нашею, источником духовной сладости, сердечного простора; с именем Иисусовым, призываемым в молитве сердцем, есть Сам Иисус, как говорит

Апостол: «*близ ти глагол сей, — во устех твоих, и в сердце твоём*» (Рим. 10, 8), то есть глагол молитвы твоей к Богу, или Бог, Которого ты призываешь. И Сам Господь говорит: «*Се стою при дверех (то есть при дверех сердца) и толку (стучусь): аще кто услышит глас Мой и отверзет двери, вниду к нему и вечеряю с ним, и той со Мною*» (Апок. 3, 20). Видишь ли, разумеешь ли безмерную любовь к нам сладчайшего нашего Господа. Он Сам жаждет обитать в сердце нашем, лишь бы мы не отказывались, желали принять Его, как и в другом месте говорит: «*и вселюся в них, и похожду (то есть буду сопровождать его во всех путях его), и буду ему во отца, и тии будут Ми в людие*» (2 Кор. 6, 16, 18. Лев. 26, 12). «О Божественнаго, о любезнаго, о сладчайшаго Твоего гласа, Господи, и блажен, иже услышит глас Твой и отверзет тебе двери сердца своего!» О сестра, вникни в эти слова и умились, и размысли: нужно ли Господу, самоблаженнейшему и источнику всякого блага, света, чистоты и святости, наше сердце нечистое, уязвленное всяким грехом, смердящее гноем страстей, сердце порочное и лукавое; однако Он не гнушается им и ежеминутно готов посетить его, лишь бы мы сами не противодействовали этому. «Се стою при дверех и толку!». «Аз выну с Тобою есмь». «*Призови Мя в день скорби твоея, и изму тя*» (Пс. 49, 15). Казалось бы, как я и упомянула уже, непрестанное упражнение во внутренней, «умной» молитве должно быть вожделеннейшим занятием иноческим, тем более еще и потому, что она доступна и удобна при всяком физическом труде, при всяком житейском занятии, при вкушении пищи и питья, при прогулке, при исполнении общественных послушаний, и всегда и во всякое время дня и ночи, лишь бы ум и сердце внимали своему «внутреннему деланию». Много и весьма много писали

об умной молитве Иисусовой богомудрые отцы, опытом изведавшие и сладость, и силу ее; так, один духоносный муж говорит: «с именем Иисуса или с искреннею мыслью об Иисусе соединена великая сила: она прогоняет страсти, запрещает бесам, наполняет сердце небесною тишиною и радостью».

Другой говорит: «именем Иисуса бей ратники (бесовские искушения), крепче бо сего имене несть инаго под небесем». Еще говорит: «когда вкушаешь пищу или питье, мешай пищу в устах твоих с именем Иисусовым, да освятит и усладит оно пищу твою, подобно, как услаждает собою сердце твое». Когда вкушаешь пищу, думай о сладости пищи духовной, при питии — о сладости и животворности воды живой, обещанной и подаваемой Иисусом верующим, и припоминай при этом соответствующие сему изречения Его: *«всяк пий от воды сея (земная) вжаждется паки; а иже пьет от воды, юже Аз дам ему, не вжаждется во веки»* (Ин. 4, 13–14) и далее: *«Аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пьет!»* (Ин. 7, 37). Говори мысленно ко Господу: *«Даждь ми от воды Твоя, да не вжажду»* (Ин. 4, 15). *«Иисусе, питье мое неисчерпаемое, Иисусе, пища крепкая, Иисусе, хлебе животный, насыти мя алчущую, Иисусе, источниче разума, напои мя жаждущую!»* и прочее, подобно подходящие тексты Священного Писания и молитвословий церковных. Когда идешь куда-либо путем, вспоминай предстоящий всем нам путь в небесное наше отечество или перенесись мыслию в те времена, когда Господь, ради нашего спасения воплотившийся, Сам ходил по земле, учил, говоря Своим последователям: *«Аз есмь путь, — никтоже приидет ко Отцу, токмо Мною»* (Ин. 14, 6). *«Аз есмь дверь овцам»* (Ин. 10, 7). *«Приидите ко Мне, вси труждающиеся и обременен-*

нии, и Аз упокою вы» (Мф. 11, 28), и соответствующими из Священного Писания словами или собственными твоими, из глубины сердца твоего исходящими словами, откликнись на всеблагий призыв Владыки, хотя бы, например, так: «*Настави мя, Господи, на путь Твой, да пойду во истине Твоей!*» (Пс. 58, 11) или: «*Стопы моя направи по словеси Твоему*» (Пс. 118, 133) и т. п.

Таким образом, сердце твое мало-помалу привыкнет к беседе с Господом, беседе сладчайшей, дарующей мир душе твоей, — мир, ни с чем не сравнимый, превосходящий всякий ум, то есть всякое понятие человеческого ума, а постигаемый лишь сердцем, силою благодати Божией, посещающей его во время молитвы. Святой Исаак Сирии говорит: «Кто стяжал непрестанную, внутреннюю молитву, тот возшел на небо, ибо принял в сердце Духа Божия». Другой духоносный муж, святой Иоанн Лествичник, восклицает: «Молитва есть созерцание Бога еще на земле, — золотая связь, соединяющая небо с землею, Творца с тварью, — есть дерзновенная беседа твари с Творцем, — есть благоговейное стояние души пред Богом, забвение для Него всего окружающего, блаженное исчезновение души пред всеисполняющим Духом Святым, вкушение будущего блаженства, вмещение в сердце Пресвятыя Троицы». Вот какими похвалами ублажают молитву преподобные и богоносные отцы — столпы монашества, подвизавшиеся в ней и опытом изведавшие плоды ее. Они уподобляют ее древу жизни, питаясь плодами коего душа не умирает, ибо как может умереть, нося в себе Самого Источника жизни и бессмертия?! О, дабы и нас сподобил Господь вкусить от сего древа райского!

**Письмо четырнадцатое.
О пострижении в монашество
(еже есть во святой ангельский образ).**

*Сыне, даждь Ми сердце твое
(Притч. 23,26)*

Вот, наконец, достигнута цель твоего поступления в обитель — окончательно, безвозвратно уневеститься Христу, Нетленному Жениху душ наших; ты готовишься к пострижению в монашество. «С вышних призираяй и убогия приемляй», Господь принял и твое благое произволение принадлежать Ему всецело, и устами твоей настоятельницы возвестил тебе: «Готовься к принятию святаго пострижения». — Как велико милосердие Божие! Слава всеблаговому Его о нас совету! Слава и благодарение Его долготерпению, призывающему всех к покаянию и каждому из нас указующему путь спасения.

Ты просишь меня написать тебе по этому поводу, дать совет на предстоящие подвиги. Но что могу я написать тебе, чего бы не было подробно и ясно написано в наших святоотеческих аскетических книгах, с которыми ты, вероятно, уже знакома? Советую тебе читать их чаще и внимательнее; книги эти, как сокровищница духовная, из которой может почерпнуть каждый, что ему потребно.

Великое дело — пострижение во святой ангельский образ. Велика и таинственна сила, заключающаяся в его священнодействии, направляемая к тому, чтобы человек стал Ангелом по образу внутренней своей жизни, ибо Ангелы бестелесны, и вещественный образ не может уподобиться им. Пострижение для инока — как бы второе крещение, в коем он перерождается и обновляется. В знак сего новорождения он совлекается навсегда своих одежд мирских, как всего «своего ветхаго

человека» (Кол. 3, 9), и полуобнаженный, босой, едва лишь ради приличия прикрытый одною срачицею, приемлет пред святым Евангелием, как от руки Самого Бога, одежду новую, «облекаясь в новаго человека о Христе Иисусе».

Зрелище поистине небесное и умилительное! Как древле Богоотроковица пред Святая Святых, так ныне пред святыми вратами алтаря Господня предстанешь ты, дева, и торжественно, во услышание всех присутствующих в храме объявишь, что «добровольно оставляешь навеки мир с его соблазнами», «*отвращаешь очи твои еже не видети суеты его*» (Пс. 118, 37), «*вменя вся уметы быти, да Христа единого приобретаешь*» (Фил. 3, 8).

Блаженна ты, сестра! Блаженна мысль твоя, блаженно и похвально произволение твое, но «не по немуже обещаваешься, а по немуже совершиши», как сказано во Последовании святого пострижения. Ты возвеселила небо и землю; возвеселила человеков, пекущихся о твоём спасении; возвеселила Ангелов, имже «*радость бывает о каждой душе, обращающейся к Богу*» (Лк. 15, 7); возвеселила и Самого Господа, призывающего всех обремененных суетою мира к Своему блаженному премирному покою: «Приидите ко Мне, и Аз упокою вы!».

И вот ты откликнулась на призыв Его, пришла к Нему и принесла свои дары и жертвы: дар — непорочное, чистое девство, жертву — любящее сердце, свободное от земных пристрастий, от плотской любви. Он только этого и ищет, только и жаждет: «*Сыне, даждь Ми сердце твое*» (Притч. 23, 26). И если Он усмотрит твою жертву искреннюю, не двоедушною, — Он примет ее и увестит Себе твою душу, но только при условиях, чтобы сердце твое не двоилось, но принадлежало лишь Ему одному всецело, бесповоротно, искренно, свято; иначе Он

отвергнет твою жертву как недостойную Его святости и величия. Приносили Богу жертву два сына первозданного Адама — Каин и Авель; оба они были родные братья, оба имели одно и то же произволение, совершали одно и то же дело, но *«призре Бог на Авеля и на дары его, на Каина же и на жертвы его не внят»* (Быт. 4, 4). Отчего? — Авель приносил жертву живую, Каин — бездушную, вещную; Авель избрал для жертвы лучшее, что имел, а Каин — худшее. Так и иноки: все приносят Богу жертву своим иночеством, но не все сподобляются быть принятыми, *«Бог есть Дух; духом и истиною достоин служить Ему»* (Ин. 4, 24); и не достаточна, и не угодна Богу жертва нашего служения Ему, если она ограничивается одним внешним удалением от мира, одними внешними подвигами, не будучи одушевлена духом жизни, как мертвые плоды Каиновой жертвы. Все наши иноческие подвиги, посты, лишения, труды без предварительного очищения сердца, без стремления души и ума к единому Богу, — как не полные, не совершенные, а двоящиеся, не только не могут быть приятными Богу, но и противны Ему. Древним Израильтянам, думавшим чрез обряды и жертвы умилостивлять Бога, Он говорит чрез пророка Исаию: *«Постов и празднеств ваших ненавидит душа Моя; когда простираете руки ваши ко Мне, — отвращу очи Мои от вас; если умножите моления, — не услышу вас, потому что сердце ваше исполнено лукавства и двоедушия. Отнимите лукавство от душ ваших, и тогда услышу вас и приму жертвы ваши»* (Ис. 1, 10). Из этого заключи: какую пользу принесет нам удаление от мира, если не исторгнута из сердца привязанность к нему, воспоминание о нем. Затворившись в каменных стенах ограды монастырской, мы лишили себя возможности только телесными очами видеть его и сами укрылись от его взоров; но дух, не стесняемый никакими стенами и преградами,

всегда свободен блуждать по стремнинам мира, где неизбежно находит себе преткновения, даже падения, едва не разрушающие его душевную храмину. Это-то и есть «лукавство души», как говорит пророк: заключившись в обители — заглядываем в мир, которым сами же пренебрегли, — не уподобляемся ли мы *«псу возвращающемуся на свою блевотину»* (Притч. 26, 11)? Постимся от снедей, а душою и умом услаждаемся запрещенными плодами в разнообразных видах; бодрствуем, — а ум обременен земными попечениями; стоим на молитве и псалмопении, а мысль блуждает по всем направлениям; пришли к источнику Любви, а в сердце нередко носим «злосмрадную злобу», подобно Иуде, лобзанием, как знаком любви, предавшего своего Учителя и Господа, Источника света и жизни, к Которому он точно так же пришел когда-то, чтобы сделаться Его учеником и последователем.

Не скажет ли и нам Господь, как древним Израильтянам: *«кто взыска сих от рук ваших? — Постов ваших ненавидит душа Моя; отымите лукавство от душ ваших»* (Ис. 1, 10) и тогда услышу вас. Лукавство души инока есть неверность небесному ее Жениху, Которому она обручилась в пострижении, обещалась Ему служить неизменно, неуклонно, а между тем уклонилась и часто уклоняется от исполнения Его воли.

Невеста Песни Песней, изображающая тоже душу, уневестившуюся Христу, *«и день и ночь имела в уме и в сердце Жениха своего»* (Песн. 3, 1–4), ибо она посвятила Ему себя всецело, Его единого возлюбив *«всею душой, всем сердцем и всем помышлением»* (Мф. 22, 37), как и требует от нас Господь. *«Егоже возлюби душа моя, удержав Его и не оставих Его, дондеже введох Его в дом матери моея»* (Песн. 3, 1–4). Удерживай и ты, сестра моя, и не оставляй возлюбленного Жениха твоего нетленного, пока не введешь Его в дом души

твоей и не ощутишь Его пребывания в себе неотступно, неразрывно, неотъемлемо; беседуй с Ним непрестанно мысленно, внутренней молитвою, неослабно внимай себе, чтобы не приразилось сердцу твоему ничто, могущее оскорбить Его святое присутствие. Видя твое усердие и твою верность Себе, Он Сам возвеселит тебя, наполнит Собою всю твою душу и будет с тобою «един дух», — по слову Апостола: *«Прилепляйся Господеву един дух есть с Господем»* (1 Кор. 6,17); Он возлюбит тебя, как говорит Он: *«Аз любящая Мя люблю, ищущий же Мене обрящут благодать»* (Притч. 8, 17), и: *«любяй Мя возлюблен будет Отцем Моим, и Аз возлюблю его, и к нему приидем и обитель у него сотворим»* (Ин. 14, 21–23).

Что больше сего блаженства, что выше сей чести, как соединиться неразлучно с Господом, уневеститься Ему, Сыну Божию, навеки и унаследовать Царство Его Небесное, нетленное, конца не имущее. Блаженна ты, сестра, и треблаженна; но, повторяю и еще, — блаженна «не по нему же обещаваешься, а по нему же совершиши». Для большего и удобнейшего преуспеяния приводи себе на память ответы, которые ты давала вопрошавшему тебя священнодействователю пред Крестом и Евангелием, как пред Самим Распятым на кресте Словом, Сыном Божиим, Которого теми своими ответами и обещаниями ты уверяла в верности и любви твоей к Нему, как невеста Жениха своего пред обручением. Неужели не знает постригающий тебя, зачем ты предстала пред святыми вратами алтаря в таком необычном виде: в одной срачице, с распущенными волосами, сопровождаемая целым ликом твоих сподвижниц с возженными в руках свечами, — неужели не знал, — однако он требовал твоего собственного слова, твоего решительного ответа, когда спросил тебя: «что пришла еси, сестра, припадая к святому жертвеннику и ко святей дружине сей?»

И ты сама отвечала ему во услышание всех: «Желая жития иноческаго». Похвалив твое доброе произволение, он тут же предупредил тебя: «Воистину добро дело и блаженно избрала еси», но в том только случае добро и блаженно, «аще совершиши е, добрая бо дела трудом совершаются». Затем он подробно изложил все эти трудности, изложил их в форме вопросов, чтобы ты могла обстоятельно обсудить и ответить на каждый из них. И когда ты объявила, что согласна на все трудности и лишения ради Господа, тогда только он постриг власы главы твоей в знамение обрезания всякого плотского мудрования и земного пристрастия, которое с той минуты стало отрезанным, отнятым от тебя по собственноручной же твоей доброй воле, и таким образом обручил тебя Небесному Жениху — Христу, напомнив при этом: «Виждь, — Кому сочетаваешься; виждь, — какова обетования даеши; Ангели предстоят зде невидимо, написующе исповедание твое сие, о немже и истязана будеши во второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа».

О, если бы мы, инокини, почаще возвращались мысленно к тому дню, в который принимали святое пострижение, почаще припоминали то блаженное состояние, в коем находилась тогда душа наша! Весь мир был бы нам чужд и не нужен, если бы даже он все свои сокровища положил перед нами. Мы дерзновенно могли бы восклицать с Апостолами: *«Кто ны разлучит от любви Божия: скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда? Ни даже смерть не возможет разлучить нас от любви Сладчайшего нашего Господа»* (Рим. 8, 35–39).

Положи это воспоминание пред мысленными очами во всех путях твоей жизни, и ты вкусишь Царствие Божие еще на земле, и спасешь свою душу.

Содержание

Предисловие	3
Размышляя о жизни великой подвижницы...	6
Записки игумении Таисии настоятельницы первоклассного Леушинского женского монастыря.	41
Предисловие к изданию Леушинского монастыря 1916 года	41
I	45
II	49
III	54
IV	64
V	71
VI	75
VII	79
VIII	85
IX	92
X	99
XI	103
XII	106
XIII	111
XIV	115
XV	121
XVI	126
XVII	131
XVIII	139
XIX	144
XX	148
XXI	154
Святитель Николай (Высокий путь).	158
XXII	159

XXIII	
Раздрание завесы.	166
XXIV	
Накануне получения назначения настоятельницей 1881-го года, февраля 2-го.	168
XXV	
Заступничество Леушинской обители Царицей Небесной и св. Иоанном Предтечей.	172
Крест	176
XXVI	
Чудесное исцеление от тяжкой болезни святым Архистратигом Михаилом в 1883 году.	176
XXVII	
Первое пострижение в монашество 8 ноября 1885 года.	187
XXVIII	
Явление Пресвятой Богородицы на месте постройки храма 27 ноября 1886 г.	189
XXIX	
В Великой Церкви.	193
XXX	
«О, Всепетая Мати». (Пред самым приездом Преосвященного Владимира).	194
XXXI	
Видение о. архимандрита Вениамина (настоятеля Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря) в сороковой день по его кончине 30 сентября 1890 года.	196
Письма игумении Таисии к новоначальной инокине о главнейших обязанностях иноческой жизни	214
Предисловие	214

Письмо первое.	
По поводу вступления в монастырь.215
Письмо второе.	
О происхождении монашества и об общежитии.218
Письмо третье.	
О повиновении старшим.226
Письмо четвертое.	
О послушничестве.229
Письмо пятое.234
Письмо шестое.	
Об обязанностях клирицы.239
Письмо седьмое.	
Об излишествах в нарядах и самоукрашениях, столь распространившихся в современном иночестве.244
Письмо восьмое.	
Об излишних попечениях вообще, как не соответствующих духу иночества.250
Письмо девятое.	
О празднословии и пересудах.255
Письмо десятое.	
О неизбежности скорбей в иноческой жизни и о добровольном избрании скорбного пути.260
Письмо одиннадцатое.	
О болезнях и их врачевании.265
Письмо двенадцатое.	
О молитве.268
Письмо тринадцатое.	
О молитве внутренней (умной), тайно в сердце совершаемой.274
Письмо четырнадцатое.	
О пострижении в монашество (еже есть во святой ангельский образ).281

Сочинения игумении Таисии (Солоповой)

Составитель Силина Е.А.

Комиссия по канонизации подвижников
благочестия Череповецкой епархии

Ответственный редактор А.Б. Блинский
Технический редактор В.П. Коваленко
Корректор К.В. Шилова

Издательство «САТИСЪ»,
лицензия ИД № 05426 от 20.07.2001 г
199004, Санкт-Петербург,
В.О., 1-я линия дом 20 литер «Г».
Тел./факс (812) 323-63-42
satis-redakt@yandex.ru
www.satis.spb.ru
Отдел сбыта 323-63-21, 8-931-227-09-81, 323-63-42.
e-mail: satis_spb@mail.ru

Формат 60x88/16. Гарнитура Times New Roman
Тир. 300 экз.